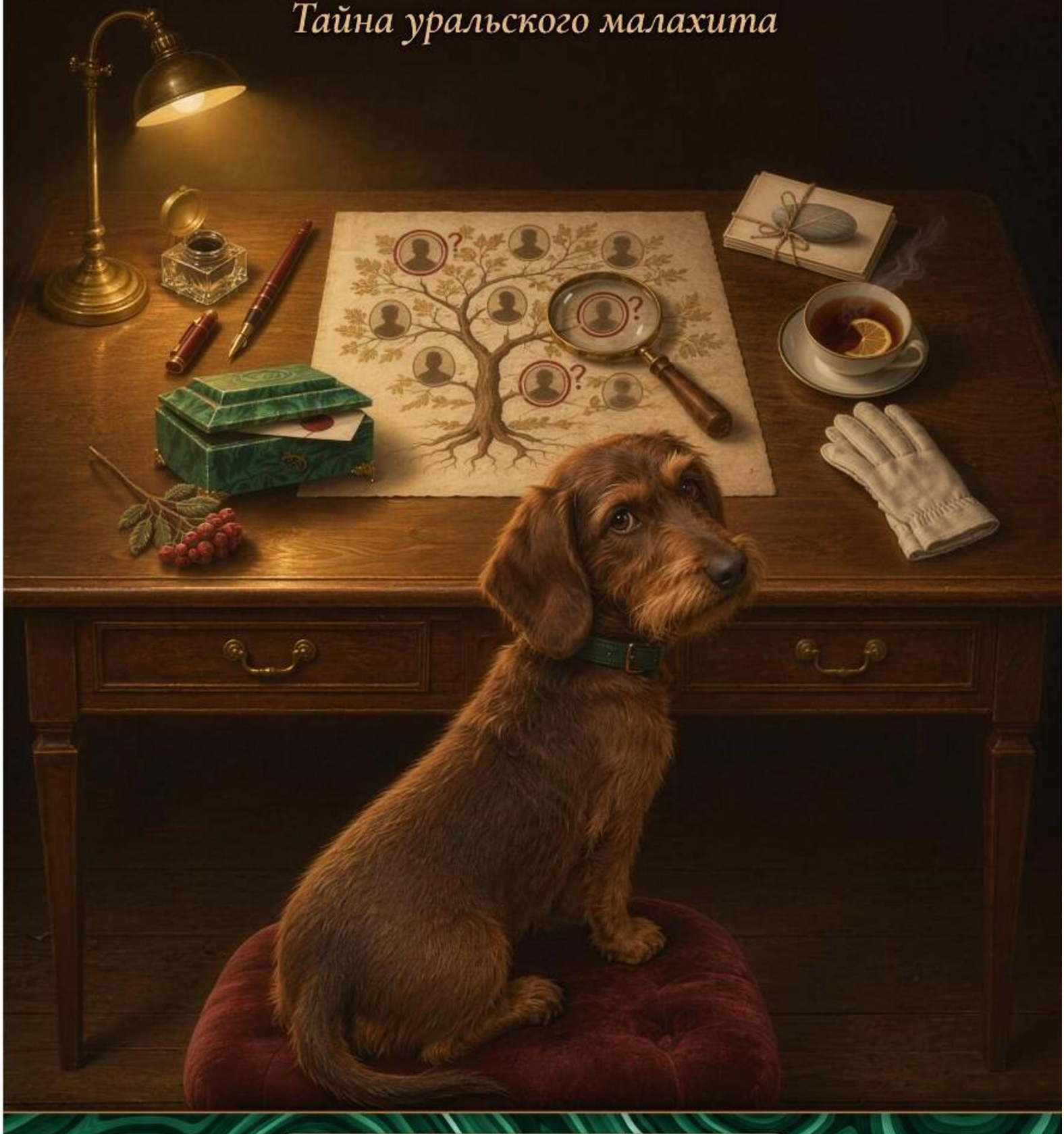
СЕМЁН БРЯНЦЕВ

ДРЕВО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Тайна уральского малахита



Семён Брянцев

Древо подозреваемых. Тайна уральского малахита

«Автор»
2026

Брянцев С.

Древо подозреваемых. Тайна уральского малахита / С. Брянцев — «Автор», 2026

Уютный исторический детектив: Екатеринбург, Санкт-Петербург наших дней, Нижний Тагил 1837 года и семейная тайна длиной почти в двести лет.Генеалог Вера Волынская нумерует блокноты, читает старую бумагу, как другие читают чужие письма, и держит рыжую таксу с бородой. Анна Павловна, жена пропавшего уральского камнереза, заказывает ей родословную и просит узнать, кто двадцать семь лет присылает ей открытки почерком мужа. Через пару дней она звонит ночью: «Я поняла, кто мне пишет. Приходите утром». Утром у дома стоит скорая... Полиция бессильна. Вера ищет в архивах, в старых письмах и в 1837 году, когда на уральском руднике пропал мастеровой. У неё есть дар, о котором она не говорит клиентам. Реальная история Урала, настоящие места, мистика и развязка в гостиной, как у Кристи.

© Брянцев С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Семья Огнёвых 6
Кто ещё в этой истории 7
Пролог. Двойное дно 8
Глава 1. Последняя страница 10
Письмо Л. № 1 15
Глава 2. Двадцать семь открыток 16
Глава 3. Филигрань 21
Глава 4. Ночной звонок 25
Глава 5. Чужие оговорки 29
Глава 6. Отпечатки на бумаге 33
Глава 7. Сухопутный пароход 37
Глава 8. Хозяйка горы забрала 42
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Семён Брянцев
Древо подозреваемых.
Тайна уральского малахита

Литературно-художественное издание. 16+

Все события и персонажи этой книги вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны. Исторические лица и реальные места появляются в ней там, где о них что-то известно. Что правда, а что вымысел, автор рассказал в записке в конце книги.

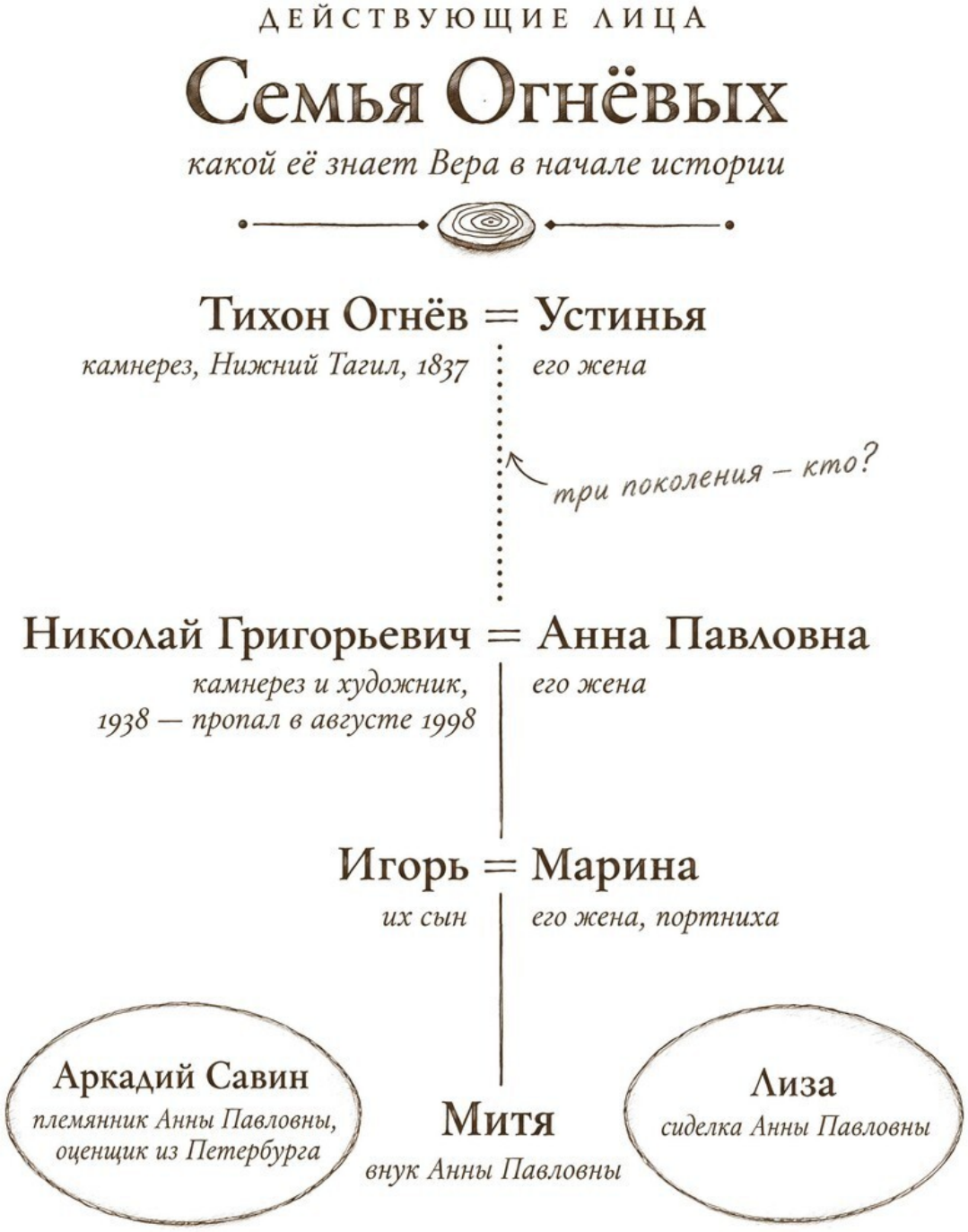
© Семён Брянцев, 2026

Все права защищены. Копировать и распространять книгу или её части без разрешения автора запрещено.

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. С. Пушкин

Семья Огнёвых

Какой её знает Вера в начале истории



Кто ещё в этой истории

Вера Волынская – генеалог
Сургуч – её такса
Тётя Ариша – соседка Веры, учительница литературы на пенсии
Мориарти – кот Ариши
Тася – каллиграф, хозяйка лавки «Филигрань»
Костя Мальцев – оперативник уголовного розыска, одноклассник Веры
Глеб Ферран – эксперт по камню из Петербурга
1837 год, Нижний Тагил
Степан Яковлев – мастеровой, друг Тихона
Мокей Ильич Зубарев – приказчик Медного рудника

Пролог. Двойное дно

Нижний Тагил. Январь 1840

За первый лист Тихона могли убить. За второй – тоже, только уже не его одного.

Первый он писал три вечера. Рука, с малолетства державшая резец, давила на перо, чернила брызгали, а буквы заваливались влево. Так писал тот, кто его учил. Последнюю строку Тихон вывел крупнее прочих и долго на неё смотрел.

«…а гдѣ лежитъ – скажетъ камень».

Второй лист вышел в разы короче, а просидел он над ним дольше. Каждое слово приходилось подгонять, как стежок к стежку, чтобы шов не разошёлся и через сто лет.

Тихон сложил его и поднёс к лучине палочку сургуча. Три тёмные капли упали на сгиб, накрыли край листа и слились в одну. Теперь развернуть его можно было, только сломав сургуч. Печати у него не было, и он прижал к капле большой палец.

В ворота постучали.

Не сторож – сторож бьёт колотушкой. Этот стучал кулаком, по-хозяйски, с ро́здыхом. Так стучат люди, которым всегда открывают.

Тихон не отнял пальца. Сургуч надо додержать, иначе оттиск поплывёт. Жгло, но он продолжал держать. За стеной заплакал младенец, и сразу заскрипела люлька. Значит, Устинья тоже не спала.

Второй стук был громче.

Тихон отнял палец. На сургуче остался его отпечаток. Такую печать в лавке не купишь и чужой рукой не поставишь.

Малахитовая шкатулка стояла открытая. Он надавил на левый угол дна, пока не приподнялся правый, потом подцепил и вынул второе дно, тонкую каменную пластину. Под ней лежало сукно, которым Тихон выстелил тайник ещё летом, когда думал, что положит сюда один лист. Теперь он положил туда оба, вернул пластину и надавил, пока она не щёлкнула. Крышку закрыл уже на ходу и пошёл открывать незваному гостю.

Гость ввалился в избу, тучный, в шубе на бобрах, с бородой, расчёсанной лопатой, и по полу потянуло холодом. Стянул рукавицу, и на толстых пальцах блеснули перстни. Сапоги у него скрипели на каждой половице.

Его имя стояло в первом листе. Дважды.

– Не спишь, голубчик? – спросил он ласково. – И я не сплю. От управляющего иду, гляжу – у тебя в окне свет. Дай, думаю, зайду, поздравлю с прибавлением в семье.

Он повёл носом.

– Сургучом пахнет. Письма пишешь, грамотей?

– Ящик с образцами запечатывал.

– По ночам работаешь?

– Днём не успеваю.

Гость посмотрел на его правую руку. Тихон держал её сжатой в кулак, большим пальцем внутрь, и разжимать не стал.

Гость тихо и долго смеялся, а потом без приглашения сел к столу, и шкатулка оказалась прямо перед ним.

– Она и есть? Про которую говорят? – Он поднял крышку. – А чего пустая?

– Не успел ещё положить.

– А что положишь?

Тихон промолчал.

Перстень стукнул по дну, раз и другой. Дно отозвалось глухо и плотно, как цельный камень. Сукно Тихон подкладывал под второе дно нарочно.

– Хорошая работа, – сказал гость и опустил крышку.

Ногтем он тронул замок, на котором сидела медная ящерка – хвост колечком, лапки врозь.

– А эту зачем посадил?

– Стеречь.

– От кого?

И на это Тихон не ответил.

Гость послюнявил палец и повёл им по малахиту. Тёмные прожилки на крышке сходились и расходились, и одна, тоньше других, тянулась от края к середине, петляя.

– Чудно подобрал, – сказал гость. – Будто тропка.

Палец пошёл по ней – поворот, потом вниз. Тихон смотрел и не шевелился. У второго поворота палец остановился.

– Продай. Не обижу.

– Не продаётся.

– Всё продаётся, голубчик. – Гость вытер палец о шубу. – Кроме того, кого гора забрала. Гора назад не отдаёт и лишнего не говорит.

За стеной опять заплакал младенец. Гость поднял голову и слушал, пока плач не стих.

– Голосистый, – сказал он. – В отца пойдёт? Отец-то у нас молчун.

Он встал, и стол качнулся. Тяжёлая ладонь легла Тихону на плечо, и он весь осел под ней.

– Молчуны, Тихон, долго живут. Ты и его так учи.

Сапоги проскрипели через сени, через двор. Стукнула калитка. Скрип ушёл по улице вниз, к пруду, и стих.

Тихон сел и разжал кулак. Большой палец горел. На подушечке остался красный ожог, ровный, как сама печать.

Он снова открыл шкатулку, нажал на левый угол и поднял пластину. Листы лежали, как он их положил. Печать уцелела.

Шкатулку продавать нельзя. Он скажет сыну, когда тот подрастёт, а сын – своему, и отдавать её будут только по крови, из рук в руки. Пусть лежит, пока не придёт тот, кому она нужна.

Три года он молчал. Молчать придётся и дальше.

До зау́трени оставалось часа три, и ложиться Тихон не стал. Он закрыл крышку и медленно, как идут ночью по знакомой дороге, повёл пальцем по той же жилке – там, где только что шёл чужой палец, и дальше.

Здесь поворот. Здесь вниз.

Здесь стой…

Глава 1. Последняя страница

Екатеринбург. Понедельник, 13 октября 2025

Сургуч начал требовать прогулку без четверти восемь. Сначала сел у двери и стал смотреть. Потом принёс поводок и положил Вере на тапок. Когда не помогло и это, он чихнул громко и с укором.

– Знаю, – ответила ему Вера. – Ещё три страницы.

Убийцей был нотариус. Она знала это с вечера, с последней страницы, и теперь читала ради другого. Ей было интересно, как автор продержит его в тени ещё двести страниц. Пока держал неплохо. Нотариусу все доверяли, он дружил с жертвой, помогал соседям и на похоронах горевал громче всех.

Нотариус мог подождать. Такса – нет.

Таксу звали Сургуч. Жесткошёрстный, тёмно-рыжий, с бородой и бровями, которые торчали щёткой, когда он сердился, и с сединой на морде, которую Ариша называла благородной. Был длинным и крепким, считал себя в доме главным. Вера не спорила.

Книгу Вера оставила на рабочем столе обложкой вниз, чтобы нотариус не подглядывал. Налила в термос чаю с чабрецом, сунула в карман тёмно-зелёного пальто два печенья, одно себе, другое на переговоры, и взяла поводок.

Ночью выпал первый снег, тонкий, ещё не настоящий. С асфальта он уже сошёл, а на крыше сарая, на перилах крыльца и на ветках старой липы лежал белый и чистый, и двор стал нарядным, как перед приходом гостей. Пахло мокрой корой и чьим-то кофе из открытой форточки.

Тётя Ариша уже сидела на своей скамейке под липой, в винном берете и старом пальто букле, на клетчатой подушке, с телефоном в руке. Губы у неё были накрашены. Ариша красила их, даже когда выходила вынести мусор. Ещё она правила домовым чатом, и чат её слушался.

– «Снег выпал только в январе», – сказала она вместо «доброго утра». – Это Пушкин. Пожил бы он у нас – написал бы про октябрь.

– Вы ему это каждый год говорите.

– Каждый год. И ни разу не ответил. Сядь, у меня новости.

– Опять чат?

– Опять чат.

Вера отстегнула поводок, села рядом и протянула ей термос. Ариша отпила, обожглась, поморщилась и поставила термос на скамейку со своей стороны. Так у них было заведено. Вера приносила чай, Ариша делала вид, что не просила.

– В чате опять война, – сообщила Ариша. – Шестой подъезд хочет шлагбаум, второй – клумбу. Я предложила клумбу со шлагбаумом. Теперь обе стороны против меня, и спасибо никто не сказал. Чувствую себя Татищевым.

– Почему Татищевым?

– Он этот город придумал. Строил, правда, Геннин, но придумал Татищев. А назвали в честь императрицы, которая сюда так и не доехала. Благодарности не жди, деточка, вот тебе вся уральская история. Удалю их из чата. Весь шестой подъезд.

– Вы не можете удалить целый подъезд.

– Я их добавила. Значит, могу. – Ариша повернула к ней экран. – А вот, полюбуйся на это безобразие.

На снимке чья-то машина стояла передними колёсами на газоне, и номер читался целиком.

– Опять встал, – сказала Ариша. – Я их всех фотографирую. С номерами. Для собрания жильцов.

– Вы собираете на соседей досье.

– Я собираю доклад. Досье – это у вас, у генеалогов[1].

Вера по привычке оглядела двор и тронула бабушкину брошь на лацкане, веточку из крошечных камешков, тёмных и светлых, в тонкой оправе. «Семейная, береги», – говорила бабушка и больше ничего про неё не рассказывала. Сосед с четвёртого этажа выбивал ковёр – в понедельник, в восемь утра. Человек, который выбивает ковёр в понедельник в восемь утра, либо очень аккуратен, либо что-то задумал. Вера отметила это и тут же себя одёрнула. Никто здесь ничего не задумывал, кроме кота.

Мориарти сидел снаружи, на подоконнике Аришиной кухни. По утрам она выпускала его через форточку. Огромный, чёрный, с рваным ухом, он смахнул лапой снег с жести, устроился на сухом и смотрел на двор сверху вниз.

Сургуч увидел его и остановился как вкопанный. Жёсткая рыжая шерсть на загривке встала дыбом, борода растопырилась, брови сдвинулись так, что глаз почти не стало видно. Он подошёл под самое окно, задрал морду и гавкнул один раз, коротко, для протокола.

Мориарти не шелохнулся. Потом медленно свесил с края лапу и покачал ею в воздухе, высоко над собачьим носом. Туда-сюда.

Сургуч подпрыгнул. Подпрыгнул ещё раз. Встал на задние лапы, упёрся передними в стену и вытянулся во всю длину. Беда в том, что такса длинная только вдоль земли, а вверх её не хватает. До кошачьей лапы оставалось с полметра.

Тогда он опустился на четыре лапы, отвернулся и длинно, с подвыванием зевнул. На его языке это значило: «Не очень-то и хотелось». Его не победили. Он просто передумал.

– Один – ноль, – сказала Ариша, не поднимая глаз от телефона. – Сургуч, иди сюда.

Вера достала из кармана печенье, припасённое для переговоров, и отдала Арише. Ариша положила телефон на колени, разломила печенье пополам и скормила Сургучу обе половинки по очереди.

– Это за храбрость. А это за то, что вовремя передумал.

Сургуч чихнул. С обеими формулировками он был согласен.

Потом Ариша долго смотрела на Веру поверх очков, как на сочинение с подозрительно правильными запятыми.

– Деточка, у тебя опять лицо человека, который знает, чем всё кончится.

– Нотариус.

– Господи. – Ариша убрала телефон. – Сорок лет я учила детей не заглядывать в конец. Сорок лет. А у меня под боком, на третьем этаже, взрослый человек тридцати четырёх лет читает с последней страницы. Агата Кристи ради таких, как ты, печатала бы на последней странице рецепт шарлотки.

– Я бы и рецепт прочитала первым. Не люблю сюрпризов.

– Их никто не любит, деточка. Вот жизнь их назло и устраивает.

Вера усмехнулась и пошла за Сургучом к арке. Термос остался у Ариши, а яблоко из Аришиного кармана перекочевало в Верин.

Днём ей позвонили. Потом она много раз жалела, что этот звонок нельзя было прочитать с конца.

* * *

На снимке девушка смеялась так, что фотограф не удержал горизонт, и пруд, перила набережной и сама девушка съехали вбок. Ей было лет двадцать. Платье в горошек, голова запрокинута, и между передними зубами видна щербинка, которую она даже не пыталась прятать.

---

[1] Генеалог – специалист по родословным: по архивным документам ищет предков и родственников.

Ольга Юрьевна долго смотрела на неё и молчала. Потом положила снимок на стол и расправила скатерть, хотя та лежала ровно.

– Мама, – сказала она. – Это мама.

Ольга Юрьевна жила в двух кварталах от Веры, в старом доме с эркером. Вера пришла к десяти, как договорились, и в квартире пахло пирогом, который поставили в духовку к её приходу. Со стены, со свадебной фотографии, смотрели высокий худой жених в светлом костюме и строгая невеста с плотно сжатыми губами.

– Она на всех карточках так, – сказала Ольга Юрьевна, проследив Верин взгляд. – Рот на замке. Стеснялась зуба. А нам рассказывала, что одна есть, где она хохочет. Что папа снял её на пруду, ещё до свадьбы, и что карточку она потеряла. Мы думали – сочиняет.

– Не сочиняла, – сказала Вера.

Денис, сын Ольги Юрьевны, сорокалетний и основательный, поставил чайник раньше, чем все сели, и теперь стоял в дверях кухни с полотенцем на плече.

– А как вы нашли эту карточку? – спросил он. – Мы же ничего не теряли. В смысле, не знали, что теряли.

Весной Вера купила пачку списанных библиотечных книг ради двух старых справочников, остальные взяла в придачу и до августа к ним не прикасалась. В томике Чехова, в бумажном кармашке за формуляром, лежала фотография, повёрнутая белой изнанкой наружу, так что шестьдесят семь лет библиотекари принимали её за картонку. Надпись на обороте пряталась внизу, в глубине кармашка: «Рае – чтобы помнила, что умеет смеяться. Ю. Июль 1958».

– Дальше просто, – сказала Вера. – Набережную я сравнила со старыми снимками города. На листке возврата нашёлся штамп за июль пятьдесят восьмого, а библиотека стояла в вашем районе. В домовых книгах по соседству оказались три Раисы подходящего возраста и один Юрий, который жил с одной из них через стенку. Потом форум краеведов, и бывшая соседка с прекрасной памятью дала мне ваш телефон.

– Это сколько же времени? – спросил Денис.

– Семь недель. Соседка долго не брала трубку. – Вера помолчала. – Фотограф, кстати, тоже смеялся. Видите, как завален горизонт? Так бывает, когда человек хохочет и жмёт на спуск одновременно.

Ольга Юрьевна посмотрела на снимок, потом на свадебную фотографию, потом снова на снимок. И опять разгладила скатерть, и ещё раз, и ещё.

Вера встала и подошла к окну. Во дворе мальчишка катал по тонкому снегу ком, который никак не хотел расти. За спиной было тихо. Потом Ольга Юрьевна откашлялась и сказала уже другим голосом:

– Денис. Неси.

Денис принёс из дальней комнаты что-то завёрнутое в носовой платок и положил на скатерть. Вера вернулась к столу. В платке оказался нож для бумаг из уральского змеевика, тёмно-зелёный, с чёрными прожилками, гладкий от многих лет в чьей-то ладони. Рукоять охватывало латунное кольцо с вензелем, таким затейливым, что прочитать его не мог никто.

– Это из дедушкиного стола, – сказал Денис. – Он им журналы разрезал. И письма вскрывал.

– Я не беру платы за «ничьих», – сказала Вера. Так она звала снимки и вещи, потерявшие хозяев, и вела им отдельный блокнот.

– Это не плата. – Ольга Юрьевна взяла нож и вложила его Вере в руку. – Буквы не наши, ни папины, ни мамины. Папа говорил – подарили, а кто, так и не рассказал. Ему тоже нужен хозяин.

Букв в вензеле было две, а может, три. Они сплелись так, что начала не найти.

– Значит, тоже ничей, – сказала Вера.

Нож она завернула обратно в платок и убрала в сумку. Туда же Денис, не слушая возражений, положил кусок пирога в салфетке. Провожая Веру, Ольга Юрьевна несла снимок в руке и не выпустила его, даже когда закрывала за Верой дверь.

* * *

Дома Вера сняла пальто и выложила на рабочий стол всё, что принесла: Аришино яблоко, пирог в салфетке, маленькую книжечку, с которой не расставалась, и нож. Нож она развернула рядом с бабушкиным пресс-папье-качалкой и сразу поняла, что место его здесь.

Ручки лежали тут же в ряд, все перьевые, каждая со своим именем и своими чернилами. Зелёная полосатая «Гувернантка» писала даты и имена – всё, в чём нельзя ошибиться. Толстый бордовый «Профессор» – черновики древа. Синяя школьная «Отличница», которую бабушка купила Вере во втором классе, – письма. Лёгкая быстрая «Стенографистка» – чужие слова, пока не забылись. «Профессор» и «Стенографистка» ездили с Верой в сумке, остальные из дома не выходили.

Ещё одна ручка жила не здесь, а в спальне, в ящике комода, вместе с «Письмами Л.», которые Вера писала и не отправляла. Имени у этой ручки не было. Ею Вера не писала больше ничего. Эту ручку подарил Л.

Телефон зазвонил, когда она ставила чайник. Номер был незнакомый.

– Вера Андреевна? – Голос был женский, немолодой, без единой лишней ноты. – Огнёва Анна Павловна. Ваш номер мне дала Ариадна Витальевна. Она обещала вас предупредить.

Вера посмотрела в кухонное окно. Ариша сидела на скамейке под липой – второй раз за утро, чего с ней не случалось даже перед собраниями жильцов, – и очень внимательно смотрела в свой телефон.

– Не предупредила, – сказала Вера.

– Значит, боялась, что вы откажетесь. Она учила моего сына литературе сорок лет назад. Он до сих пор при ней встаёт. – Тем же ровным голосом, без паузы, Анна Павловна перешла к делу. – Мне нужна родословная мужа. До его прапрадеда, Тихона Огнёва. Камнереза. Нижний Тагил, тридцатые годы позапрошлого века.

– Это можно.

– Ариадна Витальевна сказала, что тагильские метрики[2] вы знаете лучше, чем свою квартиру.

Это была правда. Почему – Вера объяснять не стала, тем более по телефону.

– Ариадна Витальевна преувеличивает.

– Ариадна Витальевна зря не хвалит. Я её сорок лет знаю.

Вера ждала. Родословную обычно заказывают к юбилею, с рамкой и фотографиями, и говорят о ней весело. Анна Павловна говорила так, будто диктовала завещание.

– Это не всё, – сказала она. – Мне нужен человек, который умеет искать мёртвых. – Она помолчала. – И живых.

– Живых ищет полиция.

– Тогда это была ещё милиция. Искала двадцать семь лет назад, когда ушёл муж. Приходите завтра к трём, Вера Андреевна. Старый дом у реки, с резными наличниками. Ариадна Витальевна объяснит, как пройти.

Прощаться Анна Павловна не стала. В трубке просто стало тихо.

Вера набрала Аришу. Внизу, на скамейке, Ариша поднесла телефон к уху и посмотрела прямо на её окно.

– Вы знали, – сказала Вера.

---

[2] Метрики, метрические книги – церковные книги, куда священник записывал рождения, венчания и смерти прихожан. Главный источник для родословной.

– Деточка, я всегда знаю, чем всё кончится. Только я, в отличие от некоторых, не читаю с конца.

Ариша отключилась и с чрезвычайно довольным видом поправила берет.

Чайник вскипел, пока она разговаривала. Вера налила себе чаю и вернулась к столу.

Карандаш она носила воткнутым в узел волос, чтобы всегда был под рукой. Им она вписала в маленькую книжечку новую строку: «№ 143. Огнёвы. 13 октября». Потом подошла к стеллажу с блокнотами. Он занимал всю стену напротив окна, корешок к корешку. Вера взяла с него чистый блокнот в кожаном переплёте с тёмно-красной ленточкой-закладкой. На первой странице вывела «Гувернанткой»: «Огнёв Тихон, камнерез. Нижний Тагил». Промокнула строку бабушкиным пресс-папье, перекатив его от края к краю. Ниже, подумав, добавила: «Кого из живых?»

Сургуч улёгся в своём кресле и следил за ней одним глазом.

Мёртвых Вера искать умела. Мёртвые никуда не девались. Они ждали в метриках, каждый под своей датой, пока за ними придут. С живыми было труднее. Живые уходили сами и не всегда хотели, чтобы их нашли.

Письмо Л. № 1

13 октября 2025, ночь

Здравствуй.

Сегодня мне заказали чужую пропажу. Двадцать семь лет назад у одной женщины ушёл муж, милиция его искала и не нашла, а теперь искать буду я. Родословная до прапрадеда-камнереза – и сам муж. Мёртвых и живых, как она сказала.

Я посчитала. Двадцать семь лет назад – это девяносто восьмой год. Мне было семь, и я читала сказки с конца, чтобы заранее знать, кого съедят. Не съели почти никого. Я была ужасно довольна.

Утром я вернула хозяевам одну «ничью». Ты, наверное, помнишь, как я про них рассказывала, а ты смеялся и звал меня бюро находок. «Только за твоими находками уже никто не придёт». Эта была смешливая: девушка пятьдесят восьмого года хохочет у пруда, а жених её снимает и тоже хохочет, и весь пруд на снимке съехал вбок.

Ты всегда заваливал горизонт, когда снимал меня. Я думала, ты не умеешь держать телефон. Потом поняла, что ты тоже всё время смеялся или смотрел на меня поверх телефона, когда меня фотографировал.

Мне подарили нож для бумаг из змеевика, с вензелем, который никто не может прочитать. Я весь вечер пыталась. Ты бы сказал, что прочитал, а я бы сделала вид, что поверила, и мы оба остались бы довольны.

Сургуч сегодня опять проиграл Мориарти. Сейчас спит в кресле и во сне дёргает лапами – догоняет. Во сне он, по-моему, всегда выигрывает.

Ариша утверждает, что жизнь любит сюрпризы именно потому, что их никто не любит. Я с ней не согласна. Но спорить с Аришей – всё равно что спорить с Пушкиным. Она уже всё сказала, а ты ещё нет.

Видишь, опять пишу тебе про других. Про себя писать нечего. Всё по-старому, только снег в этом году раньше.

Завтра в три я иду в старый дом у реки, с резными наличниками.

Письмо положу к остальным.

В.

Глава 2. Двадцать семь открыток

Екатеринбург. Вторник, 14 октября 2025

– Сначала кабинет, – сказала Анна Павловна. – Чай потом. У меня скоро чай с родственниками, а при них о деле не поговоришь.

Дверь она открыла сама. Выше Веры на полголовы, прямая, в тёмном шерстяном платье и шали. Белые волосы были заплетены в косу и уложены вокруг головы венцом. Так причёсывались в её молодости, и Анна Павловна, видимо, не нашла причины что-то менять.

Дом Вера успела разглядеть ещё с улицы. Он стоял в десяти метрах от реки, на тихой улице, а рядом – ещё несколько похожих домов. Кирпичный низ, деревянный верх, резные наличники, крашенные белым, а перед фасадом полоса газона, по-осеннему рыжего, со снегом в тени. Вход был со двора, через холодную прихожую, где пахло яблоками.

Из прихожей коридор вёл мимо открытой двери. В маленькой комнате у окна сидела девушка с русой косой и пришивала пуговицы к чему-то тёмному. Рядом на столе стояла швейная машинка, по подоконнику выстроились катушки ниток, а на коленях у девушки лежала чёрная коробочка для пуговиц, старая и тяжёлая на вид. Игольницу-подушечку она носила на запястье, как браслет, на среднем пальце блестел напёрсток.

– Лиза, моя сиделка, – сказала Анна Павловна, не останавливаясь. – С весны прошлого года. Лиза, это Вера Андреевна.

Лиза подняла голову, кивнула и снова склонилась над шитьём. Руки у неё не останавливались ни на секунду. Вера всегда смотрела на руки; у Лизы они были крупноваты для такой невысокой девушки, с крепкими короткими пальцами.

Кабинет был в дальнем углу дома, окном в сад. За стеклом голые яблони спускались к реке, под ними пятнами лежал первый снег. Всю глухую стену занимал книжный шкаф, тёмный, тяжёлый, до потолка набитый книгами. Обои, старые, в мелкую полоску, выцвели у окна, но нигде не отстал ни один угол.

На столе под лампой лежали очки, лупа в латунной оправе, стопка писем, перетянутая канцелярской резинкой, один конверт отдельно от всех, кремовая папка оценочной фирмы с тиснёной надписью «Провенанс. Заключение об оценке», малахитовое пресс-папье и металлический удлинитель для карандаша с огрызком в зажиме.

Анна Павловна не садилась, пока стояла гостья. Так её когда-то учили. Вера сообразила и села первой. Только тогда опустилась в кресло и хозяйка.

– Мужа звали Николай Григорьевич, – сказала она. – Отец – Григорий Матвеевич, дед – Матвей. Дальше ваше дело. Тихон – его прапрадед, камнерез, как и все они. Николай тоже резал камень. Реставрировал. Сорок лет.

– По телефону вы сказали, что милиция искала двадцать семь лет назад.

– Восьмого августа девяносто восьмого. Сказал, что по делам, на пару дней. И не вернулся. – Анна Павловна повернула на пальце обручальное кольцо. – Его искали. Милиция, знакомые. А весной пришла открытка.

Она выдвинула ящик стола. Конверты лежали там стопкой, углом к углу.

– Двадцать семь. Двадцать шесть здесь, а последняя на столе. Каждый год к третьему марта, к моему дню рождения. Ни одного года не пропустил. Только однажды опоздал на неделю, в четырнадцатом, кажется. Я тогда уже решила…

Она не договорила и задвинула ящик.

– Вот и всё. – Помолчав, она всё-таки добавила: – Игорь находил на ярмарках его работы. Новые, с его клеймом. Соседка клялась, что видела его в поезде через год после того, как он ушёл. Ей я не поверила. А открыткам поверила. Сами решайте, кто из нас доверчивее.

Вера посмотрела на стены. Обои были поклеены ровно, стык в стык, без единой морщинки.

– Это он клеил?

– Все обои в этом доме клеил он. – Голос у Анны Павловны не изменился, но кольцо она больше не трогала. – И под каждыми оставлял записку. Потомкам. Карандашом, прямо на стене, а потом заклеивал. Я над ним смеялась. В спальне, например, – про то, как Игорь пошёл в первый класс. «Сегодня наш Игорь сказал учительнице, что читать умеет, а учиться не собирается».

– А последние дни перед тем, как он уехал? Что он делал?

Анна Павловна долго смотрела на полосатую стену.

– Он был весёлый. Как мальчишка, которому что-то пообещали. Переклеил кабинет. Ночью, с Аркашей – это сын моей сестры, он гостил у нас тем летом. Я проснулась в два часа ночи от их смеха. Стоят среди обрезков обоев и хохочут. – Она помолчала. – А утром Николай уехал.

Вера ещё раз посмотрела на стены и ничего не сказала.

– Чего вы хотите, Анна Павловна?

– Первое – родословную. До Тихона. Второе – шкатулку Тихона. Малахитовую, он её сам делал. Её передавали от отца к сыну. Продавать нельзя, только передать по крови. Когда Николай ушёл, шкатулки в доме не стало. – Она выпрямилась. – И третье. Если он жив – пусть скажет мне это в лицо. Если нет – я хочу знать, кто мне пишет.

– Иногда лучше не знать, – сказала Вера. – Я обязана вас предупредить.

– Мне восемьдесят один год, Вера Андреевна. Мне некогда бояться.

* * *

Без пяти четыре приехали Игорь и Марина. Вошли они вместе, а дальше весь вечер держались порознь – он у окна, она у стола.

Игорь, грузный и краснолицый, с волосами, зачёсанными набок через лысину, заговорил ещё в прихожей и не умолкал. Ключи от машины крутились у него на пальце. Марина, тонкая, с гладким пепельным каре, сняла пальто и осталась в приталенном жакете. Сшит он был явно для неё самой. Чужие вещи так не сидят. На лацкане блестели три булавки с жемчужными головками. Марина шила сама и булавки носила, как другие носят брошь.

Лиза принесла чай в гостиную на фигурном чёрном лаковом подносе с крупными розами по краю и расставляла чашки, когда пришёл Митя, внук. Опоздал он на десять минут. Высокий, нескладный, в худи и кедах, с наушниками на шее и мокрыми от снега шнурками.

– Пробки, – сказал он. – В смысле, я проспал.

– Программист, – объяснил Игорь, ни к кому не обращаясь. – Ночью работает, днём спит.

Лиза поставила последнюю чашку и вышла. Митя посмотрел ей вслед и покраснел ушами.

Анна Павловна дождалась, пока все сядут.

– Я позвала вас, чтобы сказать при всех. Не люблю, когда за спиной. Вера Андреевна – генеалог. Она составит родословную Огнёвых до Тихона, найдёт его шкатулку и узнает, кто мне пишет.

– Мам, – сказал Игорь. – Ну что ты начинаешь.

– Я заканчиваю, Игорь. Начинала я двадцать семь лет назад.

Марина сдвинула чайную ложку к самому краю блюдца.

– Анна Павловна, разумеется, это ваше право. Но вы же сами говорили, что почерк его.

– Говорила.

– Отец пишет, – сказал Игорь. – Кто ещё. Раз в год пишет, а приехать не может. Двадцать семь лет не может.

– А я за, – сказал Митя. – У нас же мужчины уходят в гору. Бабушка давно хочет знать, в какую.

Никто не засмеялся. Митя уставился в чашку.

Легенду Вера знала, её знает весь Урал. Хозяйка Медной горы забирает лучших мастеров.

Анна Павловна взяла телефон и включила громкую связь.

– Аркаше я тоже скажу. Он просил, чтобы без него семейное не решали.

Гудки шли долго. Потом в комнате зазвучал голос, мягкий, неспешный, с той петербургской гладкостью, которая на Урале слышна с первого слова.

– Тётя Аня, милая моя! Я как раз о тебе думал. Что случилось?

Анна Павловна повторила ему всё слово в слово.

– Генеалог! – обрадовался Аркадий. – Тётя Аня, это чудесно. Родословная – лучшее, что можно оставить семье, я всегда говорил. Вера Андреевна, вы меня слышите? Очень рад. Если понадобится что-то в Петербурге – архивы, библиотеки, – звоните, я тут кое-кого знаю.

– Спасибо, – сказала Вера.

– А открытки… – Аркадий помолчал. – Знаешь, тётя Аня, ты правильно делаешь. Я сам иногда думаю – вдруг дядя Коля просто боится прийти. Вера Андреевна, если что-нибудь найдёте – звоните мне, хорошо? В любое время. Он мне как отец.

– Вера Андреевна работает на меня, – сказала Анна Павловна. – Кому звонить, она решит сама.

Она отключилась первой и повернулась к двери.

– Лиза, принеси коробку.

Лиза принесла сверху картонную коробку, перевязанную бечёвкой. Митя вскочил помочь, но она сказала: «Я сама», – поставила коробку перед Анной Павловной и снова ушла в свою комнатку с машинкой.

Двенадцать снимков Анна Павловна отобрала заранее и каждый проложила листом тонкой полупрозрачной бумаги, как в старых фотоальбомах. Вера разложила их на скатерти по годам, с конца, от нынешней весны к девятисотому году. Она всегда начинала с конца.

Анна Павловна у окна кабинета с открыткой в руках, этой весной. Снимал Митя на телефон, а распечатать велела бабушка, потому что для родословной всё должно быть на бумаге. Митя-первоклассник с букетом, уже тогда в кедах. Свадьба Игоря и Марины в двухтысячном; Николая на снимке уже нет. Николай с Анной на крыльце, у неё таз с яблоками. Николай за работой, начало девяностых – склонился над камнем, широкие ладони, короткие сильные пальцы.

– Пейте, остынет, – сказал Митя и подал ей чашку.

Чай теперь разливал он, и рука, в которой он держал блюдце, была широкая, совсем не для клавиатуры.

Дальше – выпускной Игоря, восемьдесят восьмой год: в первом ряду, среди учителей, молодая Ариадна Витальевна, уже тогда в очках на цепочке.

– Ариадна Витальевна! – Игорь так дёрнулся, что ключи слетели с пальца на ковёр. – Я при ней до сих пор встаю, честное слово.

Вера кивнула. То же самое Анна Павловна сказала ей ещё по телефону, почти теми же словами.

Игорь-подросток в мастерской отца держит резец не тем концом. Игорь лет восьми за отцовским столом в кабинете, над тетрадкой; рядом малахитовое пресс-папье с отбитым уголком. Анна Павловна с трёхлетним Игорем на Плотинке, у городского пруда, Игорь ревёт над упавшим мороженым.

– Это была провокация, – сказал Игорь. – Мороженое само упало.

Свадьба шестьдесят девятого года. Коса, уложенная тем же венцом, у Анны тогда была тёмная, а пиджак Николаю явно мал. Николай лет пятнадцати с отцом на Исети, оба в кепках,

у отца удочка. И последний, первый по времени, – толстый картон с золотым обрезом, тагильский фотограф. Матвей Огнёв сидит в кресле, борода до груди, а жена стоит рядом и держит руку у него на плече, будто боится, что он встанет и уйдёт.

К шести Игорь заторопился, Марина надела пальто.

– Вера Андреевна, – сказала она в дверях и улыбнулась одними губами, – мы вам очень признательны. Анне Павловне сейчас нужно отвлечься.

* * *

В кабинете уже горела лампа. Анна Павловна вышла проводить Митю, и Вера осталась одна.

Она открыла блокнот на странице с древом. Утром там был один Тихон наверху; теперь внизу появился Николай, а между ними – три пустые строки, по одной на каждое поколение, которого Вера ещё не знала. В две она вписала Матвея и Григория. Строка под Тихоном так и осталась пустой. Подумав, Вера достала из сумки «Профессора» и мелко написала на полях: «Руки. Как у Николая на фото. У Мити такие же».

Анна Павловна вернулась, вынула из ящика конверты и положила на стол рядом со стопкой писем.

– Письма тоже возьмите. Его письма, девяностых годов. Он часто уезжал на заказы и писал оттуда.

Каждый конверт с открыткой лежал в своём прозрачном файле.

– Только не в пластике, – сказала Вера. – Бумага в нём задыхается. И ничего не подклеивайте скотчем, и не держите на солнце. Старую бумагу смотрят на просвет. Она рассказывает больше, чем почерк.

– Учту.

Вера вынула одну открытку. Это был сложенный пополам лист плотной бумаги, на лицевой стороне карандашом нарисован речной камень с белой жилкой. Внутри две строки: «Аня, с днём рождения. Н.». На конверте стоял штемпель чужого города. Города, сказала Анна Павловна, каждый год были разные.



– Рисунки его. Рисовал он только дедовыми карандашами. Фаберовские, на сибирском графите, ещё дореволюционные – дед купил коробку в девятисотых годах. Николай говорил, все остальные карандаши врут. К концу от коробки остались огрызки, и он вставлял их вот в это, чтобы было за что держать. – Она тронула на столе металлическую трубочку с зажимом. – Последний.

Двадцать шесть открыток Вера убрала в сумку вместе с письмами и снимками. Двадцать седьмая осталась под лампой.

– Эту оставлю, – сказала Анна Павловна. – Хочу на неё ещё посмотреть.

Она раскрыла открытку и протянула Вере, не выпуская из пальцев. На лицевой стороне был карандашный подснежник, внутри – те же две строки, что почти на всех остальных: «Аня, с днём рождения. Н.».

– Почерк его. А всё равно чужой.

Глава 3. Филигрань

Екатеринбург. Среда, 15 октября 2025

Окна «Филиграни» были под самым потолком и смотрели во двор на уровне земли, поэтому Тася узнавала своих по обуви раньше, чем звонил колокольчик.

Колокольчик над дверью звякнул, и Веру встретил железистый, чуть кислый запах чернил. Его ни с чем не спутаешь. Лавка помещалась в полуподвале старого дома по улице Вайнера – пять ступенек вниз, низкий сводчатый потолок из красного кирпича, полки до самого верха. Бумага стопками, перья, сургуч всех цветов, пузырьки с чернилами, подписанные от руки. Тася умела искать необычную канцелярию с историей.

Таких вещей, как у неё, в городе больше не было нигде. Коробка стальных перьев, которую не открывали с царских времён. Медная песочница – до промокашек свежие чернила присыпали песком. Пресс, которым в конторах копировали письма, тяжёлый, как утюг. Школьная непроливайка, из которой, хоть переверни, не выльется ни капли. Главной гордостью Таси была пустая картонка с ярлыком торгового дома братьев Агафуровых. Больше ста лет назад Агафуровы держали на этой же улице, через несколько домов, первый в Екатеринбурге универмаг, с часами и золотом, чаем и духами, охотничьими припасами и отделом канцелярских товаров. Картонка стояла на самом видном месте, и Тася звала себя их наследницей по линии перьев.

– Архивные ботинки, – сказала Тася, глянув на окно и не отрываясь от работы. – Значит, за чернилами.

Она сидела за прилавком и запечатывала пакет. Маленькая, быстрая, с короткой стрижкой цвета чернил, иссиня-чёрной, с фиолетовым отливом. Поверх горчичного свитера крупной вязки на ней был чёрный рабочий фартук из плотного холста с кожаными ремешками, как у бариста, весь в кармашках для перьев. Тася капнула сургучом на шов и прижала печаткой. Перстень с её буквой она носила на большом пальце. На оттиске осталась «Т» с завитком. Пальцы у неё сегодня были в зелёных чернилах, перо торчало за ухом.

– Чернила ещё не готовы, – сказала она. – Подожди. Ты же вчера про сибирские карандаши спрашивала? Я позвонила Юрию Марковичу, он обещал принести показать. К одиннадцати, а он не опаздывает.

В окне под потолком показались коричневые ботинки, начищенные так, что в них отражался снег.

– А вот и он. Ботинки до такого блеска в этом городе чистит один человек.

Юрий Маркович, сухой высокий старик в пальто с каракулевым воротником, спустился по ступенькам осторожно, по одной. Он собирал карандаши пятьдесят лет и среди Тасиных коллекционеров был самым строгим. Курьерам не доверял и всё приносил сам, вот и теперь держал под мышкой плоскую коробку из-под сигар.

– Тасенька, как договаривались. Три штуки, на комиссию. Продавать только тому, кто понимает.

Он развязал бечёвку. В коробке на вате лежали три старых карандаша, потемневших, с потёртым золотом букв. Вера наклонилась и прочитала мелкую надпись: «A. W. Faber. Graphite de Sibérie de la mine Alibert».

– Сибирский графит, – сказала она. – С рудника Алибера.

– Вы знаете Алибера? – Юрий Маркович посмотрел на неё с интересом.

– Со вчерашнего вечера.

– Тогда вы его не знаете, – сказал он с удовольствием и снял шапку, как перед лекцией. – Иван Петрович Алибер, француз. Нашёл графит в Саянах, на горе Ботогол. Рудник выше леса – там даже кедр не растёт. Возили только зимой, на санях. В кедровых ящиках, почти по

центнеру. До Нюрнберга – полгода, прошу заметить. А Фабер делал из него карандаши и на каждом писал, откуда графит. Чтобы никто не спутал.

Он поднёс карандаш к носу и вдохнул, как вдыхают чай.

– Кедр. Сто лет прошло, а пахнет. – И добавил уже строже: – Такого графита больше нет. Всё, что после, – так, грифели.

– А если человек рисовал таким в девяностых? – спросила Вера.

– Значит, у него была коробка от деда. – Юрий Маркович бережно опустил карандаш на вату. – Такие продавали до революции. В девяностые их можно было только унаследовать. И он её берёг. Таких людей я уважаю.

Вера смотрела на золотые буквы, а видела металлический удлинитель для карандаша на столе под лампой и огрызок в нём. «Рисовал он только дедовыми карандашами. Фаберовские, на сибирском графите… Николай говорил, все остальные карандаши врут». Значит, где-то лет сто с лишним назад Матвей Огнёв купил коробку таких карандашей. Графит с горы, где не растёт даже кедр, съездил в Нюрнберг и вернулся на Урал, чтобы кончиться огрызком на столе у Анны Павловны.

Тася переложила карандаши в «шкаф старины», на бархатную подложку. Юрий Маркович проследил за каждым, закрыл пустую коробку, надел шапку и ушёл, осторожно поднимаясь по одной ступеньке.

* * *

– Пока чернила стоят, разбери мне вот это. – Тася поставила на прилавок коробку из-под обуви. – От старьёвщика. Написано «старые ручки», а там половина мусора. Что годится – в «шкаф старины», остальное – обратно ему.

Вера высыпала коробку на прилавок. Деревянные ручки для перьев, облезлые и целые, стальные перья россыпью, сломанная самописка, костяная пуговица неизвестно откуда. Перья она ссыпала в ящичек картотеки с надписью «Перья. Бирмингем». Картотеку Тася купила у библиотеки, которую закрывали, и подписала ящички своей рукой: «Облатки», «Кальки», «Ничьи печатки». Нижний правый был подписан «Не продаётся». Что в нём, Тася не рассказывала, а Вера не спрашивала. У неё самой был такой ящик.

Последней в коробке нашлась ручка цвета топлёного молока, резная, тонкая, с крошечной стеклянной точкой у верхнего конца. Вера поднесла её к глазу, а другим концом повернула к лампе, чтобы посмотреть на просвет.

В стекле величиной с маковое зерно открылся городок. Черепичные крыши, колокольня, крепостная стена, а вокруг тёмные свечки кипарисов. Итальянский, это было видно по кипарисам и по крышам, а какой именно, Вера не знала.

– Что там? – спросила Тася.

– Италия.

– В ручке?

– В ручке. Это стэнхоуп. Линза, а за ней снимок. В позапрошлом веке такие продавали как сувениры. Ты её не заметила?

– Я думала, это бусина. – Тася отобрала ручку, приложила к глазу и замерла. – Мамочки. Там башня. – Она опустила ручку и провела ногтем по резьбе. – А это кость?

– Это не слон, это орех. Тагуа, растительная слоновая кость. Из него делали дешёвые вещицы, когда настоящая кость была не по карману.

– Забирай, – сказала Тася. – Ты нашла – значит, твоя. За бесценок, я сегодня добрая.

Вера завернула ручку в бумажную салфетку и убрала в сумку. Городок с кипарисами она так и не узнала, и это её немного раздражало. Она не любила того, чего не могла узнать.

Тася увела её за плотную занавеску, в мастерскую. Там стояли наклонный стол каллиграфа под лампой, плитка и банки, а под потолком тянулась верёвка, на которой сохли на при-

щепках листы. Вдвоём тут едва помещались. Отвар из чернильных орешков со вчерашнего дня настаивался в банке, а Тася толкла в ступке новую порцию и ругалась на поставщика.

– Это не орешки, это горох. В прошлый раз были крупные, как вишни.

Она отставила ступку, процедила вчерашний отвар через марлю, всыпала железного купороса и отмерила гуммиарабик. Чернила получились бледные, серо-голубые.

– Потемнеют на бумаге, – сказала Тася. – Им воздух нужен. Как там Ариадна Витальевна? Воюет?

– Удаляет из чата шестой подъезд.

– Передай ей, что у меня есть чернила цвета её берета. Пусть пишет ими протоколы собраний. – Тася постучала ложкой о край банки. – Ну, рассказывай. У тебя бровь опять на взводе. Значит, новый заказ.

Левая бровь у Веры всегда стояла чуть выше правой, и Тася уверяла, что этой бровью Вера не верит всему миру сразу.

– Родословная. Камнерез, Тагил, тридцатые годы позапрошлого века.

– И всё?

– И муж, который ушёл двадцать семь лет назад, а каждый год присылает жене открытку на день рождения.

Тася отложила ложку.

– Двадцать семь лет пишет – и не возвращается? – Она помолчала. – Знаешь, это хуже, чем если бы не писал.

Вера не ответила. Тася вытерла руки о фартук.

– Вер, – сказала она осторожно. – А ты ему всё ещё пишешь?

– У тебя купорос рассыпался.

– Где? – Тася посмотрела на стол. Купорос и правда рассыпался. – Ну ты и сургуч, Вера. Чуть оттаешь – и тут же запечаталась.

Она смела кристаллы ладонью, перелила чернила в бутылочку с притёртой пробкой и протянула Вере.

– Это опять в твою амбарную книгу? – Книгу Вере подарила она сама и с тех пор подозревала худшее. – Что ты там пишешь, стихи?

– Вопросы.

– А ответы?

– Бывают, – сказала Вера.

Тася засмеялась, как над хорошей шуткой.

* * *

Без двадцати двенадцать Вера достала из нижнего ящика стола тетрадь.

Тетрадью она звала её про себя. На самом деле это была амбарная книга, толстая, конторская. В такие купеческие приказчики записывали товар. Тёмно-коричневый переплёт с медными потёртыми уголками, плотные желтоватые страницы, разлинованные под цифры. Книга была толще любого Вериного блокнота и старше всех их вместе взятых. Тася привезла её из Ирбита, из старого купеческого дома, вещи из которого раздавали соседям, и подарила Вере: «Пахнет архивом, тебе понравится». Первые страницы кто-то давно вырвал, это было видно по корешку, а переплётчица Таси перешила книгу так, что она раскрывалась ровно, как в первый день.

Тася думала, что Вера записывает туда вопросы по работе. Отчасти так и было. Вечером Вера писала вопрос, а утром находила под ним ответ, написанный чужим почерком, с ятями, как писали больше века назад. Как это получается, Вера не знала. Тасе она не рассказывала, и никому не рассказывала.

Правила книга установила сама, и Вера выучила их за несколько лет, как выучивают характер старой родственницы. Один вопрос за ночь и до полуночи, после полуночи книга

молчала. Однажды Вера спросила дважды и утром нашла жирную кляксу, похожую на упрёк. Чернила – только свежие, Тасины. На покупных и на вчерашних книга не отвечала. Для неё у Веры была своя ручка, простая, деревянная, со стальным пером, которое макают в чернильницу. Новую, с линзой, Вера пробовать не стала. О живых книга не говорила никогда, о выдуманных тоже. Однажды Вера спросила про Онегина и наутро нашла пустую страницу. А отвечала так, что понять можно было двумя способами, и Вера почти всегда сначала понимала не так.

Если Николай Огнёв жив, страница утром останется пустой. Это тоже будет ответ.

Она обмакнула перо и написала: «Где Николай Огнёв?»

Буквы легли бледные, серо-голубые, какими всегда ложатся свежие Тасины чернила. Вера подождала, пока строка высохнет, закрыла тетрадь и выключила лампу. Сургуч, спавший в кресле, даже ухом не повёл.

Утром, в четверг, первым к столу подошёл он. Встал на задние лапы, упёрся передними в ящик и долго водил носом в воздухе, с края до края, будто читал. Потом чихнул.

Вера раскрыла тетрадь. Под её вопросом стояла строка, написанная чужой рукой, с ятем и твёрдыми знаками:

Тамъ же, гдѣ Степанъ.

Её вопрос за ночь потемнел. Ответ под ним был такой же тёмный, будто его написали в тот же час. Вера знала эти чернила. Строка, выведенная на рассвете, была бы ещё бледной.

Она долго сидела над страницей. Потом посмотрела на край стола, где лежали двадцать шесть открыток, стопкой, углом к углу, как у Анны Павловны в ящике.

Первым на ум пришёл не тот Степан. Бажовский. Хозяйка показалась ему у горы и подарила малахитовую шкатулку, а потом его нашли у той же горы мёртвым. Огнёвы, у которых мужчины уходят в гору, наверняка выросли на этой сказке. Но бажовского Степана сочинили, а про выдуманных тетрадь не отвечала. Значит, где-то жил настоящий.

Степанов в тагильских метриках было без счёта.

Она открыла блокнот с тёмно-красной закладкой. Тихон, пустое место под ним, Матвей, Григорий, Николай, Игорь, Митя. Степана в древе Огнёвых не было. Вера нарисовала для него отдельный квадратик сбоку, ни с кем не связанный линией, и вписала имя.

Глава 4. Ночной звонок

Екатеринбург. Понедельник, 20 октября 2025

Сургуч спал на коробке с архивом. Всё, что Вера ставила на пол, по его мнению, ставилось для него, и спорить было бесполезно.

Вера сидела рядом, на полу, среди Огнёвых. Снимки лежали по годам, от Матвея до нынешней весны, а над ними – большой лист с черновиком древа, начерченным «Профессором». За неделю древо подросло. Матвей Васильевич нашёлся в оцифрованных тагильских метриках за тысяча восемьсот семидесятый год, и отцом его был записан мастеровой Василий Тихонов Огнёв. Строка под Тихоном перестала пустовать. Зато сам Василий не находился. В метриках конца 1830-х, которые Вера помнила лучше, чем ей бы хотелось, его крещения не было. За такими дырами обычно пряталась дорога. Человек родился не там, где жил.

Она обвела имя Василия карандашом и поставила рядом дату со знаком вопроса.

Вечером звонила Ариша, чтобы узнать, как там Огнёвы, а на самом деле убедиться, что Вера заказ взяла.

– Ну? Анна Павловна держится?

– Прямее, чем мы с вами.

– Она всегда так. – В трубке было слышно, как тикают Аришины кухонные часы. – В восемьдесят шестом её Игорь написал в сочинении, что Онегин – дурак. Я вызвала мать. Анна Павловна пришла, при мне прочитала сочинение от начала до конца и сказала: «По существу он прав. А запятые расставьте, это ваша работа». И ушла. Я её с тех пор уважаю.

– А Онегина?

– Онегина, деточка, я уважаю за другое. Пушкин бросил его на самом интересном месте, и правильно сделал.

Без пяти двенадцать телефон зазвонил снова.

– Вера, – сказала Анна Павловна, впервые без отчества. Голос был тот же, ровный, только быстрее, чем неделю назад, будто она боялась не успеть договорить. – Я поняла, кто мне пишет. Приходите утром, в девять. Никому не говорите.

– Анна Павловна, кто…

– Утром. Сначала пусть он скажет мне сам.

И отключилась.

Вера посмотрела на телефон, потом на часы. Перезванивать в полночь восьмидесятилетней женщине, которая сказала «утром», было нельзя. Она открыла блокнот «Даты» и записала: «20 октября, без пяти двенадцать. А. П.: поняла, кто пишет. Утром в девять». Подумала и дописала одно слово: «Он».

Она погасила лампу и постояла у окна. Луны не было, только редкие звёзды над крышами, и весь двор держался на одном фонаре у арки.

Спала она плохо.

* * *

Утром, во вторник, скорую она увидела ещё издалека. Белая машина стояла у калитки Огнёвых, за ней – полицейская. Ночью подморозило, и иней лежал на всём: на заборе, на крышах машин, на резных наличниках.

Вера не побежала. Она дошла до калитки обычным шагом, и только пальцы в кармане пальто сжали маленькую книжечку так, что загнулся угол.

На крыльце стоял Костя Мальцев, её одноклассник, теперь опер уголовного розыска, крупный, широкоплечий, с носом, сломанным когда-то на борцовском ковре. Вид у него остался такой же невыспавшийся, как в девятом классе.

– Вера? – Он спустился на ступеньку. – Ты что здесь делаешь?

– Меня ждали в девять.

– Кто?

– Анна Павловна.

Костя потёр глаза.

– Вер. Она умерла ночью.

Вера кивнула и зачем-то посмотрела на часы.

– Врач говорит – сердце, – сказал Костя. – Восемьдесят один год. Сиделка нашла её в восемь, а нас скорая вызвала из-за кабинета. Там… сама увидишь. Ты зачем к ней в девять?

– Она позвонила мне вчера без пяти двенадцать. Сказала, что поняла, кто ей пишет. Велела прийти в девять и никому не говорить.

Костя полез в карман пуховика за ручкой, не нашёл, полез в другой. Вера вынула из узла волос карандаш и протянула ему.

– Кто ей пишет? – спросил он, записывая Вериным карандашом в блокнот.

– Муж. Двадцать семь лет, каждый год по открытке. Или тот, кто за него.

Костя поднял на неё глаза и какое-то время просто смотрел.

– Ты была тут на прошлой неделе?

– Во вторник.

– Пошли. Посмотришь кабинет и скажешь, чего не хватает. – Он посторонился, пропуская её. – Только ничего не трогай.

В прихожей пахло яблоками, как неделю назад, и от этого было хуже всего. На вешалке висела тёмная шаль Анны Павловны. Дверь в комнату Лизы закрыли. Дверь в спальню – тоже, и возле неё дежурил человек в форме. Вера туда не посмотрела.

В кабинете горела лампа, хотя было уже светло. Обоев на открытых стенах почти не осталось.

У окна и у стола их сняли аккуратными полосами на высоте плеча. Края полос не просохли и потемнели от воды, а на подоконнике стояла эмалированная миска с губкой. Дальше от окна стену рвали по-другому. Сухие обои висели клочьями, кое-где их взрезали ножом, и надрезы шли по штукатурке короткими злыми чёрточками. У стола кто-то вскрыл пол. Две половицы были выдернуты и стояли у стены.

Вера посмотрела на стол.

Очки. Лупа в латунной оправе. Малахитовое пресс-папье. Удлинитель для карандаша с огрызком в зажиме. Письма Николая лежали теперь у Веры, их она увезла вместе с открытками.

Отдельного конверта не было. Не было и кремовой папки.

– Открытки нет, – сказала Вера. – Последней. Она лежала здесь, в конверте. И папки «Провенанс» с оценкой, кремовой.

– Может, убрала.

– Неделю назад она сказала, что хочет на эту открытку ещё посмотреть. А вчера позвонила мне и сказала, что поняла, кто ей пишет.

– Вера, – сказал Костя устало, – это не кино. Старушки перекладывают бумажки. Им за восемьдесят, они встают ночью и перекладывают. В кино за меня всё раскрыла бы такая, как ты, а у меня был бы выходной.

– Не эта старушка.

Женщина, которая держит конверты углом к углу, не перекладывает их ночью куда попало. Костя ничего не ответил, но записал. Её карандашом.

Вера ещё раз посмотрела на стены: на ровные мокрые полосы, на миску, на сухие клочья рядом. Достала из сумки блокнот «Осколки» и ручку и написала: «Две руки. Миска». Объяснять ничего не стала – ни Косте, ни себе.

* * *

Лиза сидела на кухне у окна, в пальто, которое так и не сняла, и держала обеими руками кружку с давно остывшим чаем. Игольница – на запястье, по привычке.

– Она меня вчера раньше отпустила, – сказала Лиза в кружку. – В полдевятого. Сказала: «Иди, мне надо подумать одной». Я ей таблетки на вечер в таблетницу разложила, как всегда, и ушла. А утром…

Она замолчала, и Костя не стал её торопить.

– Замок у нас сам защёлкивается. Я открыла своим ключом – и дверь открылась. А она на ночь всегда запирается изнутри на засов. Я каждое утро звоню, и она засов отодвигает. А тут дверь открылась сама. И чашек две.

– Каких чашек? – спросил Костя.

Лиза кивнула на сушилку у мойки. Там стояли две чашки, вымытые, донышками вверх.

– Она сама никогда не мыла. Оставляла мне. Всегда.

Вера посмотрела на сушилку, потом на дверь в прихожую. Открыла «Осколки» и под первой строкой написала вторую: «Две чашки. Засов».

Игорь с Мариной приехали без двадцати десять. Игорь заговорил ещё в прихожей, громко, как неделю назад, только голос у него теперь срывался.

– Она неделю обои драла! – Он стоял посреди кабинета и не смотрел на стены. – Шкатулку искала. Я ей говорил – мам, нет её в стенах. Нет! А она – губку, миску… Вот. Доискалась.

Марина стояла в дверях и пересчитывала пальцем булавки на лацкане.

– Анна Павловна последнее время была очень… увлечена, – сказала она. – Мы, разумеется, беспокоились.

– Вскрытия не надо, – сказал Игорь Косте. – Слышите? Мать резать не дам. Ей восемьдесят один, у неё сердце двадцать лет. Какое вскрытие?

– Игорь Николаевич. – Костя сказал это очень официально, и Вера поняла, что он злится. – Это не я решаю. Это решает засов, который ночью кто-то отодвинул. – Он показал подбородком в сторону прихожей. – И две чашки. И бумаги, которых нет на столе. Вскрытие будет полное, с анализом на лекарства. – Он перевёл взгляд на Марину. – И ещё. Ваша свекровь вчера около полуночи кому-то звонила и звала к девяти утра. Не знаете зачем?

Игорь посмотрел на Веру так, будто увидел её впервые.

– Понятия не имею, – сказала Марина.

Игорь хотел что-то сказать и не сказал. Марина взяла его под руку, и он позволил себя увести.

Дом опечатывать не стали. Вскрытие Костя выбил, а на печать оснований не было. Смерть пока считалась естественной, следов взлома не оказалось, а беспорядку в кабинете семья нашла объяснение сама. Ключи остались у Игоря и у Лизы. Игорь вышел на крыльцо звонить в Петербург, Аркаше.

За калиткой, в кедах на инее, ждал Митя и не входил.

– Это правда? – спросил он, когда Вера вышла.

– Правда.

– Я ей в воскресенье обещал заехать. – Митя смотрел мимо неё, на окна. – И не заехал. Проспал.

В кухонном окне мелькнула русая коса. Лиза увидела Митю и отвернулась.

Костя догнал Веру у машин и сунул ей в руку свёрток в фольге.

– Держи. Мама опять положила два бутерброда.

Так повелось с девятого класса. Костина мама заворачивала ему с собой второй бутерброд – «для Верочки, она же опять не позавтракала». Прошло столько лет, а мама так и давала ему два бутерброда.

– Костя, я не хочу.

– Я тоже. Съешь потом. – Он сунул блокнот в карман. – Карандаш отдам.

– Оставь себе.

Вера пошла по набережной, вдоль реки. Свёрток она держала в кармане и не замечала, что держит.

Анна Павловна звала её к девяти, чтобы назвать имя. К девяти со стола пропало всё, по чему это имя можно было угадать.

Глава 5. Чужие оговорки

Екатеринбург. Четверг, 23 октября 2025

Ариша держала Веру под руку крепко, будто опора нужна была Вере, а не ей.

Ветер гнал по кладбищенским дорожкам сухие берёзовые листья. У могилы стояли все, кого Вера видела на прошлой неделе за чаем. Игорь, ещё краснее обычного, мял в руках шапку и смотрел не вниз, а поверх ямы, на стволы берёз; губы у него шевелились, как у человека, который с кем-то спорит. Марина стояла прямо, в чёрном пальто своего шитья и чёрном платке поверх ровного каре, и держала Игоря под локоть – не то поддерживала, не то не давала уйти. Митя был без шапки. Ветер трепал русые кудри, и Митя то и дело вытирал глаза рукавом и сердито щурился на ветер, сдерживая слёзы. Лиза держалась поодаль, у берёзы; она ни к кому не подходила и ни на кого не смотрела.

– Хоронят одну, – шёпотом сказала Ариша, – а место Анна Павловна ещё давно покупала на двоих. Николая-то так и не нашли.

Возле Игоря стоял светловолосый мужчина и вполголоса что-то говорил Марине. Голос Вера узнала, хотя слышала его один раз и по телефону. Мягкий, неспешный. Аркадий.

И ещё один человек, которого Вера не знала. Очень высокий и худой, в чёрном пальто, с длинным тёмно-вишнёвым шарфом. Он стоял в стороне, сунув руки в карманы, и не делал вида, что горюет. Вере он сразу не понравился. Такие решения она принимала быстро и потом часто оказывалась права.

– Кто это? – шёпотом спросила она.

– Не знаю, – сказала Ариша. – Но ботинки у него начищены. Значит, не совсем пропащий.

Гроб опустили. По крышке глухо застучала земля, сначала горстями, потом с лопат. Вера подошла последней и взяла горсть. Земля была мёрзлая, твёрдая, как кусок сахара, и не рассыпалась в пальцах. Вера бросила её вниз и услышала, как комок ударился о дерево. Анна Павловна звала её к девяти, чтобы назвать имя. Теперь она уже ничего не скажет.

Пальцы Вера потом долго не могла отогреть, хотя сразу надела перчатки.

* * *

Поминки устроили дома у Огнёвых, туда они с Аришей приехали на такси, раньше многих. Следом подъехала большая тёмная машина с петербургскими номерами и встала прямо на газон перед фасадом, на рыжую траву, в двух шагах от окон гостиной.

Ариша выпустила Верину руку.

Из машины вышел Аркадий – пальто нараспашку, под ним серый костюм в тонкую полоску. Он оказался мягким, чуть полноватым, с загаром не по сезону и светлыми волосами, уложенными волосок к волоску.

– Молодой человек! – Голос у Ариши был тот самый, от которого сорок лет вставали целые классы. – Вы на газоне.

– Простите?

– Это газон. На газоне растёт трава. А машины стоят на дороге. Это проходят во втором классе.

Она подняла телефон и сфотографировала номер.

– У меня таких коллекция, – объяснила она. – Покажу на собрании жильцов. Пусть видят, что газоны давят не только у нас во дворе.

– Ариадна Витальевна, – Игорь уже спешил к ним, втянув голову в плечи, как школьник, которого вызвали к доске, – это Аркаша, сын тёти Люды. Он вчера только приехал – почти двое суток из Петербурга гнал без остановок. Дайте человеку прийти в себя.

– Ариадна Витальевна! – Аркадий просиял. – Тётя Аня столько о вас рассказывала. Виноват, милая моя, тысячу раз виноват. Голова после дороги совсем не варит.

Он поцеловал ей руку раньше, чем она успела её убрать; манжета отъехала, и блеснула запонка, малахитовая, зелёная, в тёмных кольцах.

– Сейчас же переставлю, – пообещал он.

Ариша посмотрела на свою поцелованную руку, потом на него и ничего не сказала. Это было хуже любых слов, и Игорь это знал.

Аркадий отогнал машину к обочине и поставил впритык к забору.

С пассажирского места вышел высокий человек в чёрном пальто и вишнёвом шарфе – тот, с кладбища.

* * *

Стол в гостиной раздвинули во всю длину, и Лиза молча разносила блины и поминальную кашу с изюмом, как разносят лекарства, всем поровну. С буфета на поминки смотрел чугунный каслинский Мефистофель. Ему одному здесь было не грустно.

Когда Ариша вошла в гостиную, Игорь встал. Сам, не заметив.

– Сядь, Огнёв, – сказала Ариша. – Не на уроке.

Игорь сел.

Аркадий обходил гостей и с каждым говорил вполголоса.

– Я пригласил Глеба из Петербурга, – услышала Вера. – Мой давний знакомый и эксперт по камню, лучший в Петербурге по уральскому малахиту, к нему музеи ходят за заключениями. Тётя Аня так хотела, чтобы шкатулка нашлась.

До Веры он добрался не сразу. Взял её руку в обе свои и тоже поцеловал. Пахло от него сладко и дорого, а глаза были красные, и он то и дело тёр их, как ребёнок, который не хочет, чтобы видели.

– Вера Андреевна. Мы же знакомы, по телефону. Тётя Аня вас так хвалила. – Он помолчал. – Родословную она очень хотела. Доделайте её, пожалуйста. Ради неё.

Вера пообещала. Это она сделала бы и без его просьбы.

Марина подошла позже, с чашкой, которую так и не пригубила.

– Вера Андреевна, это не моё дело. Но зачем Анна Павловна звала вас к девяти утра? Полицейский спрашивал, а мы и не знали.

– Не успела сказать.

– Жаль, – сказала Марина. – Она в последнее время любила тайны.

Ариша успела выяснить всё раньше всех и теперь подвела к Вере высокого человека.

– Знакомьтесь. Это Вера Андреевна Волынская. Волынская – почти Волконская. Та тоже за своим в рудник поехала.

– Я за своими только в архив спускаюсь, – сказала Вера.

– Ферран, – сказал он и протянул руку.

Рука оказалась холодной, и Вере на миг почудилось, что она опустила ладонь в тёмную воду, а в воздухе запахло часовым маслом, тонким и чистым, каким смазывают механизмы. Одеколон, решила она. Странный выбор для поминок.

– Ферран, – с удовольствием повторила Ариша. – Не родня Монферрану?

– Мы без «Мон».

– Жаль. Собор у него вышел хороший. Вы тоже из Петербурга на машине?

– Я прилетел вчера, – сказал Ферран. – Машину я не вожу.

Вблизи он оказался ещё выше. Тёмный костюм-тройка был не новый, но сидел отлично, рубашка белая, без галстука, на жилетной цепочке рядом с лупой висели карманные часы. Волосы почти чёрные, с сединой на висках, веки тяжёлые.

Подошёл Митя, с чашкой в руке и красными глазами.

– Вы тоже шкатулку ищете? – спросил он Феррана слишком громко, как спрашивают люди, которые не знают, куда себя деть. – Бабушка её Вере Андреевне поручила, при всех.

Так что у вас конкурентка. Она с предками разговаривает. – Он сам услышал, что сказал, и поправился: – В смысле, по архивам их ищет.

– Митя, – сказала Вера.

Митя покраснел и отошёл. Свою чашку он донёс до Лизы и протянул ей. Лиза взяла, поставила на подоконник и ушла на кухню, а Митя остался стоять с пустыми руками.

– С предками, – сказал Ферран тем тоном, каким говорят «на кофейной гуще». – Генеалогия. Аркадий рассказывал.

– Генеалогия – это когда документы читают. А не гадают.

– Документы писали люди, Вера Андреевна. В сельской церкви крещение записывали через месяц, по памяти, путали имена, а за полтину могли вписать что угодно. – Ферран говорил ровно, без насмешки, и от этого было ещё обиднее. – Камень не врёт. Его можно подделать, но сам он не врёт. Слои в нём легли так, как легли миллион лет назад, и уговорить их нельзя.

– Камень тоже подделывают.

– Подделывают. Поэтому я смотрю в лупу, а не в глаза. – Он наклонился к ней, как вежливо наклоняются очень высокие люди. – Подлинник или подделка. Всё остальное – лирика.

Говорили они вполголоса, как говорят на поминках, и от этого спорить было ещё неудобнее.

– Значит, я для вас гадалка, – сказала Вера.

– Я этого не говорил.

– Вы подумали.

Вера стала очень вежливой. Так с ней бывало всегда, когда она злилась. Сноб, решила она. Высокий, хорошо одетый сноб с лупой.

Он посмотрел на неё – точнее, на её левую бровь.

– Вы смотрите так, будто уже прочли, чем всё закончится.

– Я всегда начинаю с конца.

– Тогда вам со мной будет скучно, – сказал Глеб Ферран.

Тут Ариша увела его слушать про своего покойного мужа, горного инженера, который знал Николая по камню. Глеб слушал, наклонив голову влево. Так слушал один человек, о котором Вера сегодня думать не собиралась. Она отвернулась к окну и не стала додумывать.

Когда она снова обернулась, Глеб стоял у горки. Так в старых домах называют высокий шкаф со стеклянными дверцами, где держат на виду самое дорогое. У Анны Павловны в горке жили малахитовые вещи: шкатулки, вазочки, письменный прибор, пасхальное яйцо на подставке. Лупу он не доставал, всё-таки поминки. Но смотрел на зелёные вещи за стеклом так, как корректор смотрит на чужую рукопись, – внимательно и без всякого удовольствия.

Аркадий подошёл к нему с двумя чашками и протянул одну. Манжета снова отъехала, малахитовая запонка блеснула у самого стекла горки. Глеб взял чашку и смотрел на запонку дольше, чем смотрят на чужие запонки. Эксперт, подумала Вера, увидев этот взгляд. Даже на поминках прикидывает, что сколько стоит.

За столом Вера по привычке смотрела на руки. У старика, сорок лет проработавшего с Николаем в одной мастерской, они были в мелких трещинах, тёмных от въевшейся каменной пыли. У Марины подушечки пальцев были в крошечных точках, следах булавок, и вилку она держала, как держат иглу. Игорь не выпускал ключей. Аркадий промокал губы салфеткой тонкими холёными пальцами, и зелёный камешек на манжете то показывался, то пропадал.

* * *

На крыльце было холодно и тихо. Двор тонул в синих сумерках, за калиткой зажгли фонарь.

Вера достала «Чужие оговорки» и, пока слова не выветрились, записала их по памяти, как слышала, без комментариев.

Соседка в синем платке: «Сахару Анна не держала. Говорила, сладкое – для слабых».
Марина: «Дом придётся приводить в порядок».
Аркадий: «Сгинул дядя Коля где-то под Тагилом, бедный».
Старик, работал с Николаем: «Николай камень слышал. Сейчас так не умеют».
Игорь: «Теперь хоть с банком разберёмся».
Митя: «Бабушка не любила, когда плачут. Я и не плачу».

Дверь за спиной открылась, и вышел Глеб, на ходу застёгивая пальто и наматывая свой бесконечный шарф. Встал рядом, посмотрел на тёмный двор, потом на её блокнот.

– Записываете чужие слова?

– Свои я помню.

Он помолчал.

– Я найду шкатулку раньше вас, Вера Андреевна. И без духов.

Глава 6. Отпечатки на бумаге

Екатеринбург. Пятница, 24 октября 2025

– Бабушка вам заплатила, – сказал Митя с порога. – Я доплачу. Я хочу знать.

Он стоял в дверях в мокрых кедах, с бумажным пакетом пирожков из кулинарии на углу. Сургуч вышел в прихожую, обнюхал левый кед, потом правый и ушёл на кухню, ни разу не вильнув хвостом.

– Он мне не верит, – сказал Митя.

– Он никому не верит до третьего визита. Проходи. Пирожки – на кухню.

– Меня во дворе допросила та учительница, которая на поминках папу усадила, – сообщил Митя, разуваясь. – Спросила, ем ли я суп.

– Это Ариадна Витальевна. Что ты ответил?

– Сказал, что ем. Она не поверила.

На кухне Митя сел на табуретку у окна, взял чашку и долго молчал. Вера не торопила. Во дворе Ариша кормила голубей с таким видом, будто принимала у них экзамен.

– Отец с мамой уже про риелтора говорят, – сказал наконец Митя. – Дом, говорят, всё равно продавать. А бабушку возили на вскрытие. Полиция настояла, из-за засова и двух чашек, представляете? Папа орал на полицейского. – Он повертел чашку. – Я хочу знать, кто ей писал. Двадцать семь лет. Она же из-за этого…

Он не договорил.

– Она меня в шахматы учила, – сказал он вдруг. – С восьми лет. И ни разу не поддалась. Я до четырнадцати у неё не выигрывал, а когда выиграл, она сказала: «Наконец-то. Я уж думала, ты в отца». – Митя помолчал. – А Лизу отец вчера рассчитал. Даже спасибо не сказал. Она полтора года за бабушкой ходила.

Лизино имя он сказал тише, чем всё остальное, и сразу уткнулся в чашку.

Вера посмотрела на его руки, широкие, с короткими пальцами, всё ещё сжимавшие чашку, из которой он так и не отпил. В субботу ей нужно было в Тагил, туда, где работал Тихон и где, может быть, найдётся тот самый Степан. Одной ей там делать было нечего.

Вслух Вера об этом не говорила никогда. Но без живой руки Огнёвых в Тагил ехать было незачем.

– Митя, я тебе сейчас кое-что расскажу. Можешь не верить. Сургуч, например, до сих пор не верит.

Митя кивнул.

– Я иногда вижу чужую память. Только память предков – и только если держу за руку их живого потомка.

– Моя подойдёт?

– Для Огнёвых – да.

– То есть я – проводник.

– Можно и так.

– А правила? – Митя подался вперёд. Он не смеялся, и это было неожиданно. – Ну, ограничения.

– Место. Чем ближе к тому месту, где человек жил и работал, тем ясней. Здесь, у меня на кухне, увижу разве что туман.

– Значит, надо в Тагил. Там же Тихон работал. – Митя подумал. – А деда так можно найти? Взять меня за руку и спросить, где он?

– Не всех показывают. Это долгий разговор, расскажу по дороге. – Вера помолчала. – И что покажут, я не выбираю. Увижу только то, что видел тот человек. Потом сутки болит голова. Если я начну говорить странно, не пугайся.

– Это же как бэкап памяти, – сказал Митя. – Только в людях. Я верю.

– И без твоего согласия я этого делать не стану.

– Согласен. Где расписаться?

– Так сразу?

– Бабушка вам доверяла. Мне этого хватит.

Сургуч, лежавший под столом, демонстративно отвернулся к стене.

– Ещё вещи, – сказала Вера. – На них тоже остаётся след, если человек долго держал их в руках или писал от сердца. Ни слов, ни картинок – только какой он был, когда держал. Торопился или нет, любил или просто подсчитывал, сколько ему заплатят.

– Покажете?

* * *

В большой комнате – Вера называла её мастерской – Митя остановился у стеллажа и задрал голову. Сургуч прошёл за ними следом, чтобы ничего не упустить, и улёгся под рабочим столом.

– Это всё ваши блокноты?

– Мои.

– Ничего себе, – сказал он с уважением.

Вера разложила на рабочем столе письма Николая – ту стопку под канцелярской резинкой – и двадцать шесть открыток, рядами, по годам. Настольная лампа на высокой ножке светила на них жёлтым кругом. Митя сел напротив, на старый венский стул, и спрятал руки между колен, чтобы ничего не трогать.

Вера сняла резинку и взяла верхнее письмо. Девяносто шестой год, Пермь, заказ в каком-то храме.

– Письма нужно слушать голой рукой, – сказала Вера. – Через перчатку ничего не слышно.

Сначала было как всегда. Бумага как бумага, сухая, чуть шершавая, чернила, сгиб. Потом пальцы потеплели. Так остаётся тёплой варежка, которую только что сняли с руки, – руки в ней уже нет, а тепло держится. На подушечках проступила сухость, какая остаётся от каменной пыли после резца. И ещё что-то, от чего хотелось улыбнуться. Так пишут тем, кого любят и над кем немного посмеиваются.

«Аня, здесь второй день дождь, хозяин скупой, а камень хороший. Яблоки без меня не трогай, приеду – сварим».

– Ну? – шёпотом спросил Митя.

– Тёплое. Он её любил. И посмеивался над ней немножко, как ты над отцом, когда он на пробки ворчит.

Митя улыбнулся, кажется, впервые за этот день.

Потом Вера взяла открытку две тысячи шестнадцатого года, с крокусом. Подержала, закрыв глаза. Ничего. Ни тепла, ни холода, бумага как из магазина. Девятнадцатый год, ветка рябины. Ничего. Две тысячи пятый, камень с прожилкой. Бумага, грифель, две строчки «Аня, с днём рождения. Н.» – и никакого следа того, кто их писал. Двадцать с лишним лет человек выводил одни и те же слова для любимой женщины и не оставил на бумаге ничего. Так не бывает. Даже квитанция за квартиру хранит больше.

– Пусто, – сказала Вера и положила открытку обратно, к остальным. – Будто их писал «никто».

Телефон зазвонил, когда она потянулась к следующей. На экране было: «Костя».

– Вскрытие сделали, – сказал он без предисловий. – Пока пишут, что сердце. Анализы на лекарства – через неделю, раньше лаборатория не даст.

– Целую неделю? – сказала Вера.

– У них очередь, Вер. У всех очередь. И ты пока не лезь. Ладно?

– Я не лезу. Я составляю родословную.

– Знаю я твою родословную, – сказал Костя. В трубке загудело – прощаться он, как всегда, не стал.

Митя смотрел на неё через стол.

– Через неделю скажут больше, – сказала Вера.

Открытка две тысячи десятого была не такая, как остальные. Вместо цветка или камня на ней был эскиз – чаша на ножке, а по краю цифры, высота и ширина в миллиметрах, как в чертеже для мастерской. Внутри вместо обычных двух строк стояло: «Аня, вот над чем сижу. Н.».

Вера повернула её к лампе боком. Линии эскиза блестели жирно и ровно, как натёртые воском.

Она отыскала в стопке последнее письмо, июнь девяносто восьмого, с какого-то заказа. От него пальцы сразу загорелись. Азарт, весёлый, мальчишеский, как накануне похода. На полях Николай несколькими штрихами нарисовал Анну в шляпе. Эти линии под тем же светом были сухие и серебристые, как пыльца.

– Смотри.

Митя наклонился, посмотрел на одно, на другое и сам повернул открытку к свету.

– Блестит, – сказал он. – А у деда – нет.

– Дед рисовал сибирским.

– Который «другие врут». Бабушка рассказывала.

– Это ничего не доказывает, – сказала Вера. – Сибирские у него кончились, последний огрызок до сих пор лежит у бабушки на столе. Живой человек купил бы обычные.

– А мёртвый?

Вера не ответила.

* * *

Митя полез в карман худи и достал очки в тонкой оправе, с дужкой, у виска аккуратно перемотанной ниткой.

– Это бабушкины. Она в них последнюю неделю обои снимала, с утра до ночи, это Лиза сказала. Дужку Лиза ей и перемотала. Я забрал… ну, на память. Папа разрешил, дом же не опечатан. – Уши у него всё-таки покраснели. – Посмотрите их? Ну, руками. Можно?

Вера взяла очки.

Сначала ничего. Потом – нежность, такая сильная, что Вера закрыла глаза. Такую нежность Анна Павловна, наверное, берегла для одного человека в жизни. А под нежностью – нетерпение, мелкое и весёлое, как перед свиданием, когда до него ещё полчаса, а ты уже стоишь в пальто.

Она положила очки на стол стёклами вверх, открыла «Отпечатки» и написала: «Очки. Искала не клад. Ждала встречи».

– Что там? – спросил Митя.

– Потом.

За окном начало темнеть. Вера придвинула лампу ближе и долго смотрела на двадцать шесть открыток, разложенных по годам.

– Открытки писал не твой дед, – сказала она. – Ни одну. Доказательств у меня нет. Блеск грифеля можно объяснить, а то, что я чувствую, в суд не понесёшь.

– Так что, в субботу – Тагил? – спросил Митя.

– В субботу. Старый Медный рудник, где работал Тихон. Мне нужна твоя рука.

– И моя машина. Вы же без машины.

Очки он забрал и спрятал в карман худи, стёклами внутрь. Потом помолчал, глядя на стопку.

– Если это не он… – Митя запнулся. – То кто тогда двадцать семь лет писал бабушке за деда?

Сургуч выбрался из-под рабочего стола, обнюхал Митины носки и тяжело, всем своим рыжим весом, улёгся ему на ноги. Вообще-то гостям он верил только с третьего раза. Видимо, сегодняшний визит засчитал Мите сразу за три.

Глава 7. Сухопутный пароход

Нижний Тагил. Суббота, 25 октября 2025 – 1834–1835

Сургуч ехал в Тагил в зелёном свитере, который связала Ариша. Первые полчаса он пытался стянуть его зубами, потом сдался и уснул на заднем сиденье, положив бороду на Верину сумку.

Машина у Мити была маленькая, серебристая, не первой молодости, и печка в ней грела только ноги. Митя вёл аккуратно, обеими руками, и говорил без остановки: про пробки на выезде, про кофе на заправке, который хуже, чем в офисе, про навигатор, который вёл их в объезд с упорством обиженного.

– А больно? – спросил он на выезде из города тем же голосом, каким спрашивал про кофе.

– Нет. Холодно. Как будто долго простояла на ветру.

– А что вы будете спрашивать?

– Есть одно имя рядом с Тихоном. Степан. Хочу понять, кто это.

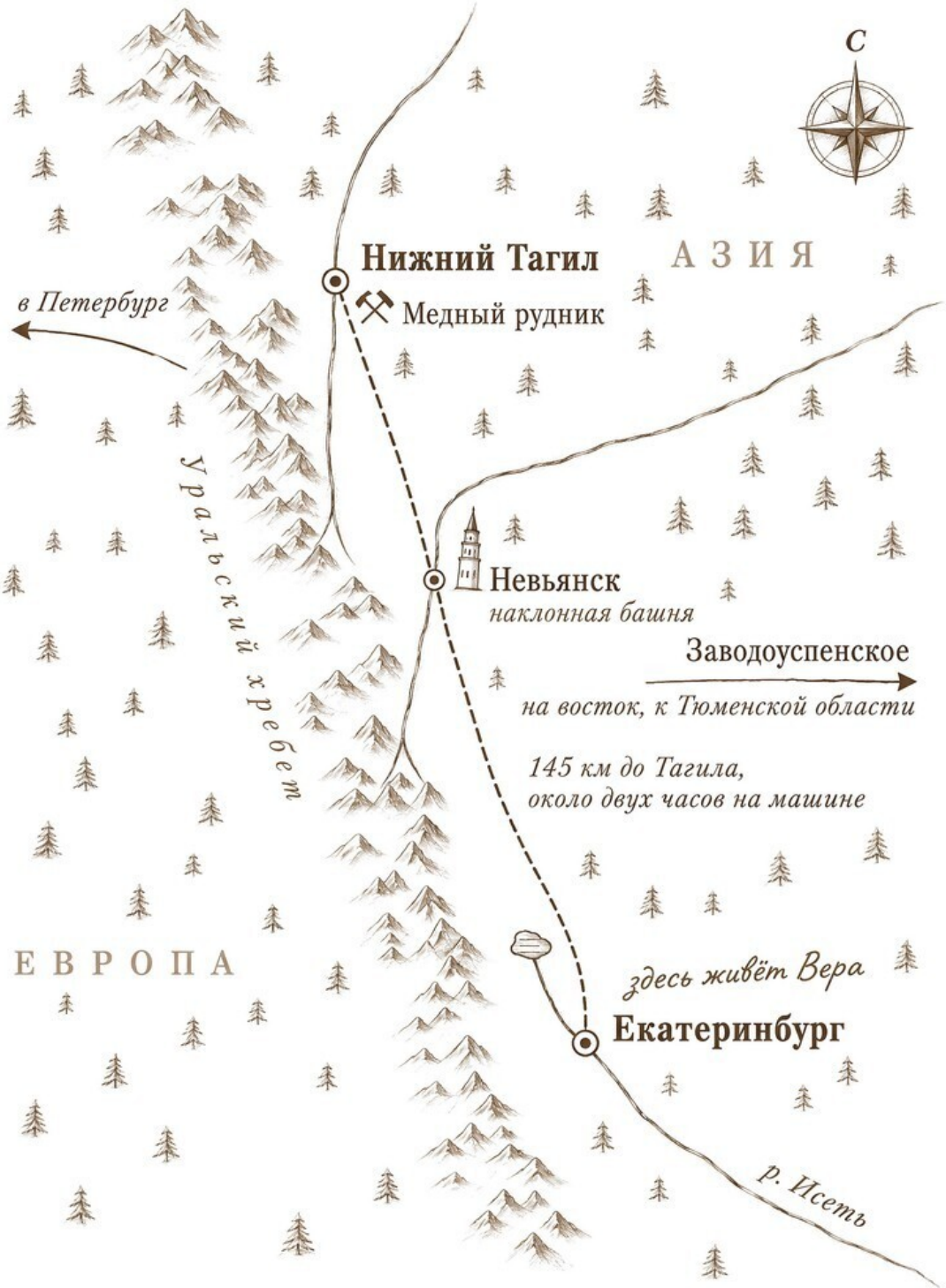
– А про деда?

Вера посмотрела в окно, на мокрые ели вдоль трассы.

– Про деда – это тот долгий разговор. На обратном пути, ладно? И что покажут, я не выбираю, я тебе говорила.

У Невьянска из тумана выступила наклонная демидовская башня, мелькнула и пропала.

За Невьянском пошёл крупный, настоящий снег, и лес по сторонам дороги побелел за десять минут.



Митя замолчал и молчал до самого Тагила. Только у первых домов спросил, глядя на дорогу:

– Мне что-то делать надо? Ну, во время?

– Держать меня за руку. И не отпускать, даже если я начну говорить чужим голосом.

– А вы правда начнёте?

– Иногда.

Старый Медный рудник Вера нашла по своим выпискам ещё в четверг ночью, а Митя – по карте. На окраине они оставили машину у последнего забора и пошли пешком по свежему снегу. Под берёзами угадывались старые отвалы – холмы пустой породы, которую когда-то подняли из месторождения, слишком ровные для природы. Снег на них лежал чистый, без единого следа. Нападало его немного, по щиколотку, но таксе хватало и этого. Сургуч бежал впереди, в ямах между кочками он проваливался по брюхо, выпрыгивал и недовольно чихал.

Вера остановилась у поваленной берёзы. Отсюда ничего не было видно, кроме леса и отвалов. Но где-то здесь, Вера знала это по старой карте, которую нашла по дороге на одном из сайтов, почти двести лет назад была железная дорога от завода к руднику.

Она сняла перчатку и протянула Мите руку.

– Согласен?

– Согласен. – Он взял её за руку – широко, крепко. – Если что, я тут.

– Знаю.

Сургуч сел у их ног и уставился в лес, подняв одно ухо.

Вера закрыла глаза. Снег пах холодом. Потом – угольным дымом. И год пришёл сам, как приходит во сне, без всякого календаря – лето тысяча восемьсот тридцать четвёртого.

* * *

Паровоз дышал.

Его пустили в первый раз, этим утром. Он стоял на чугунных рельсах, чёрный, горячий, из трубы у него валил тяжёлый дым, а вся слобода стояла вдоль дороги и смотрела, как он дышит. Тихон был со всеми. Ему шёл двадцать третий год, и он ещё ни разу не видел, чтобы железо дышало.

У машины хлопотали Черепановы, отец и сын. Старший что-то показывал младшему руками, тот кивал и не спорил. Бабы крестились. Мальчишки лезли под ноги, и их отгоняли.

– Сухопутный пароход, – сказал рядом Степан и засвистел сквозь зубы.

Свистел он всегда, когда думал. Был он рыжий, вихрастый, тощий и быстрый, а пальцы у него не отмывались от чернил, как у Тихона от камня. Степан служил на руднике учётчиком и записывал, сколько руды и камня подняли наверх.

Паровоз дёрнулся, лязгнул и пошёл. Сначала медленно, потом быстрее. Мальчишки побежали рядом и не отставали. Кто-то закричал «ура», кто-то засмеялся, а старуха у забора заплакала, от страха или от радости, не разобрать.

– Четыреста саженей, – сказал Степан, оборвав свист. – От завода до рудника. Пешком быстрее.

– Пешком всякий может, – сказал Тихон.

Степан посмотрел на него, хлопнул по плечу, и они побежали за паровозом, как мальчишки, по обочине, через лопухи. Тихон смеялся, что с ним бывало редко.

У рудника машина встала и выпустила пар. Тихон вытер ладони о кожаный фартук и посмотрел на них. Ладони были широкие, пальцы крепкие, а в трещинках кожи сидела зелёная пыль малахита, которая не смывалась ни мылом, ни щёлоком.

– Через сто лет на таких до Москвы ездить будут, – сказал Степан. Он уже отдышался и не мог отвести от машины глаз. – Сел утром – к обеду там.

– А камень кто резать будет?

– Ты. Хоть через сто лет. Тебе, кроме камня, ничего не надо.

Тихон подумал и согласился. Ему и правда больше ничего не было надо.

* * *

Вечерами Степан учил его буквам.

Сидели у Степана, при лучине, на лавке у окна. Писали на сероватых обрезках счётной бумаги с чужими цифрами на обороте. Их Степан уносил из конторы. Выбросить бумагу у него рука не поднималась. Перо Степан чинил сам и сердился, что Тихон давит на него, как на резец.

– Это тебе не камень. Бумага слов не держит, если на неё давить.

– А что держит?

– Рука. Лёгкая. Пиши «аз».

Тихон написал. Буква вышла тяжёлая, кривая и завалилась набок. Так же у Степана заваливались все буквы, будто шли против ветра. Тихон писал, как видел.

В тот вечер, когда он впервые написал своё имя целиком – «Тихонъ», с твёрдым знаком на конце, – Степан долго смотрел на обрезок, а потом сказал:

– Ну. Теперь ты в ведомости не крестом распишешься, а сам, своим именем.

Тихон ничего не ответил. Он сложил этот листок вчетверо, спрятал за пазуху и так и нёс до дома, придерживая рукой.

* * *

Большую глыбу малахита нашли в тридцать пятом.

Сначала по руднику пошёл шум, потом побежали люди, и Тихона потащили вниз, хотя камнерезу в забое делать нечего. Внизу пахло мокрой породой. Глыба лежала в стене, зелёная, как вода в пруду подо льдом, с тёмными кольцами прожилок. Свечи освещали её кусок за куском, а конца ей видно не было.

– Мать честная, – сказал кто-то сзади. – Да это ж гора.

Тихон молчал. Он положил ладонь на холодный зелёный бок и долго не убирал. Камень молчал. Тихон слышал только, как стучит собственное сердце.

Когда он поднялся, наверху уже служили молебен, и управляющий стоял без шапки.

Глыбу не поднимали – такую не поднимешь. Её откалывали кусками, неделя за неделей, и каждый кусок взвешивали и записывали. Записывал Степан. Он сидел у конторы за столом со счётами и книжкой и считал всё, что шло наверх: куски, пуды, корзины. Сначала откладывал на счётах, щёлк да щёлк, потом записывал в книжку, мелко, с тем наклоном, который Тихон теперь узнавал издали.

Мастерская стояла у пруда, и в ней всегда было мокро. Камень пилили тонкой пилой с наждаком и водой, вода со станков стекала зелёная, и к вечеру зелёными становились рукава, лица и даже хлеб, если есть его тут же. Старый мастер, у которого Тихон учился, раскладывал на столе распиленные пластины, как карты, и повторял одно и то же:

– Камень к камню подбирай. Чтоб узор играл. Узор сам скажет, куда ему.

Тихон подбирал, и рука сама клала пластину на место. Рука была широкая, с зелёной пылью в трещинах, такая же, как та, что держала сейчас Верины пальцы.

Куски из забоя приходили в мастерскую уже взвешенные. Хорошие, но мелкие. Тихон видел у конторы, какие куски поднимали наверх, и всякий раз хотел спросить, где те, крупные, и всякий раз не спрашивал. Не его ума дело.

Как-то вечером Тихон зашёл в контору за Степаном. Жили они на одной улице и домой возвращались вместе. Степан сидел за столом один, подбивал на счётах итог дня, и Тихон сел ждать на лавку у двери. Тут в контору вошёл приказчик Зубарев.

Был он тучный, с маленькими глазами, борода расчёсана лопатой, сапоги со скрипом, а руки тяжёлые, мясистые, в перстнях. Говорил он ласково, как нянька, и от этого все, кто его знал, отвечали ему коротко. Тихона на лавке он будто и не заметил.

– Считаешь, голубчик?

– Считаю, Мокей Ильич.

– Покажи-ка.

Степан помедлил и подал книжку. Зубарев листал её не спеша и перед каждой страницей слюнявил толстый палец.

– Хорошо считаешь, – сказал он. – Цифра к цифре.

Он вернул книжку и положил Степану на плечо ладонь, и Степан под ней осел.

– Считай, считай. Только правильно считай. Как в конторе велено.

Он постоял, поскрипел сапогами и ушёл. Степан посмотрел ему вслед, спрятал книжку за пазуху и задул свечу.

Домой шли молча. Степан не свистел. Возле своей избы он замешкался, хотел, кажется, что-то сказать, потом махнул рукой и ушёл.

Ночью Тихона разбудил стук. Не в дверь – в окно, костяшкой пальца, тихо, три раза. Так стучат, когда не хотят, чтобы услышали соседи. Тихон вышел на крыльцо в одной рубахе, и холод сразу взял его за плечи. Степан стоял у плетня без шапки, с книжкой за пазухой, и даже в темноте было видно, какой он белый. Он оглянулся на тёмную улицу, на чужие окна и только потом шагнул ближе.

– Тихон, – зашептал он. – Цифры не сходятся. – И, не дав ответить, сжал ему локоть: – Только тише. Тут и у плетня уши есть.

Глава 8. Хозяйка горы забрала

Нижний Тагил. Осень 1836 – май 1837. Суббота, 25 октября 2025

В ночь на Покров Степан повёл его смотреть.

Они лежали за отвалом, в мокрой траве, и Тихон слышал, как у него стучит в ушах. Тучи шли низко. Снизу, от рудника, ползла телега. Колёса не скрипели. Их смазали так, что дёгтем пахло даже здесь.

Телега свернула не к конторе, а вправо, к старой штольне, которую заколотили ещё при прежнем управляющем. Доски на входе отошли легко, будто их прибили только для вида. Двое сняли с телеги что-то тяжёлое, завёрнутое в рогожу, и понесли в штольню. Потом ещё. И ещё.

– Из большой глыбы, – прошептал Степан. – Лучшие куски. У меня в книжке их нет. Велено не писать.

Третий светил им фонарём и прикрывал огонь по́лой кафтана. Фонарь качнулся, и Тихон увидел широкую спину и бороду, расчёсанную лопатой. Зубарев. Сапоги у него в ту ночь не скрипели. Их тоже смазали.

Обратно пробирались зада́ми, по огородам. У своей калитки Степан остановился.

– Говорят, весной наследник по Уралу поедет, – сказал он. – Сам. В рудник спустится.

– Слыхал.

– Я челобитную напишу. Его людям отдам. Всё как есть: сколько подняли, сколько записали, куда остальное.

Тихон взял его за рукав.

– Правление велело ничего у наследника не просить. Слыхал? На колени не падать и ничего не просить.

– Я не прошу. Я докладываю.

– Им без разницы.

– Я считать поставлен, – сказал Степан. – Вот и считаю.

– Молчи. – Тихон держал рукав крепко, как держат лошадь под уздцы. – Христом Богом, Стёпа. Молчи.

Степан посмотрел на него так, как смотрел на кривую строку в чужой ведомости, без злости, с сожалением. И ничего не обещал.

Всю зиму он писал на отдельных листах и прятал их за божницу. Тихон видел их один раз. Ровные строки без единой кляксы, буквы с тем самым наклоном. Сверху – «Его Императорскому Высочеству…» Дальше Тихон читать не стал. Не хотел знать того, что потом придётся забывать.

За ту зиму он ни разу не слышал, чтобы Степан свистел.

* * *

Весна пришла поздняя, с мокрым снегом. А в начале мая Степан пропал.

Однажды утром его стол у конторы оказался пустым. Счёты лежали костяшками в одну сторону, а так Степан их никогда не оставлял. К обеду за стол посадили другого, молодого, из писарей. Тот считал медленно и всё переспрашивал.

К вечеру по слободе пошёл шёпот. Ушёл Степан. В Сибирь ушёл, вслед за бродячим старцем, про которого шептались, будто это сам покойный государь, – того старца ещё осенью погнали по этапу на восток. Странником решил стать, божьим человеком.

Шёпот тянулся от конторы, и слова в нём были ласковые, жалостливые: «Душа у парня тонкая. Пошёл за правдой». Степана в этих словах все жалели, и все соглашались.

Тихон не спорил. Он знал, что Степан никуда не уходил. На гвозде у Степановой двери осталась его шапка. Без шапки в Сибирь не ходят.

Двадцать восьмого мая слобода стояла вдоль дороги молча. Так было велено. Мужики в чистых рубахах, бабы в праздничных платках, ребятишки на плечах у отцов – и ни звука, как на похоронах.

Наследник оказался молодым и румяным. Он спустился в рудник и сам отбил несколько кусков малахита, а на промывке намыл немного золота и долго смеялся, разглядывая лоток. Потом его усадили в вагон к Мирону Черепанову, и паровоз покатил по чугунной дороге и дал свисток. Тихон вздрогнул. Так свистел Степан, когда думал.

В свите показывали учителя наследника, того, что сочиняет стихи. Жуковский, шепнул кто-то за спиной. Тихон стихов не читал. Он смотрел в другую сторону.

Старую штольню заколотили заново. Свежие доски, прибитые крест-накрест, ещё белели, и на них блестели шляпки новых гвоздей. Наследник проехал мимо и головы не повернул. Ему-то зачем смотреть на старые доски.

Зубарев стоял в первом ряду, в новом кафтане, и кланялся ниже всех. Сапоги у него опять скрипели.

Тихон стоял молча, как было велено. Молчать он умел. Этому его учить не надо было.

* * *

– Вера Андреевна. Вера Андреевна!

Голос был Митин. А руки у неё были чужие, ледяные, и только его ладони, горячие, держали её пальцы крепко, как он и обещал.

Вера открыла глаза. Небо было белое, на ресницы садился снег. Она сидела на поваленной берёзе. Митя стоял перед ней на коленях и держал её руку в обеих ладонях, а Сургуч, поставив передние лапы ей на колени, вылизывал другую.

– Вас пятнадцать минут не было, – сказал Митя. Лицо у него было бледное, а уши горели от холода. – Вы говорили. Не своим голосом.

– Что говорила?

– «Заново заколотили». Два раза.

Голова гудела, как после ночи над мелким почерком. Вера попробовала пошевелить пальцами, и пальцы ответили не сразу. Митя растирал их неумело и сильно, как растирают замёрзшему ребёнку.

– Пусти, барин, – сказала Вера. – Сама.

Митя замер.

– Как вы меня назвали?

Вера услышала, что сказала, и закрыла глаза.

– Это осколки чужой памяти. Я предупреждала. До завтра я буду иногда говорить чужими словами.

– Барин, – повторил Митя и засмеялся. – Бабушке бы понравилось.

Он полез в карман за перчатками, и в снег вывалились ключи от машины. Вера подняла их, не глядя. Пальцы сами нащупали брелок, гладкую зелёную каплю камня, и обвели его по краю, как Тихон обводил пластину.

– Малахит, – сказала она. – Настоящий. Только резали поперёк узора. Кто ж так режет…

Она осеклась. На брелок она так и не посмотрела.

– Это бабушка подарила, – сказал Митя. – На восемнадцать лет. «Чтобы ключи не терял». Я всё равно теряю.

Он забрал ключи, подержал на ладони и спросил, не поднимая головы:

– Вы деда видели?

– Нет. Тихона. И его друга Степана. Тысяча восемьсот тридцать седьмой год.

– А если ещё раз? Не сейчас, потом. Про деда. Или… – Митя посмотрел на брелок. – Про бабушку. Ту ночь. Я же её внук. Вы можете спросить через меня.

– Не могу.

– Почему? Вы же сами говорили – живая рука того же рода.

Вера подумала, как сказать это попроще, без всякой мистики.

– Пока человека помнят, он ещё не предок, – сказала она. – Его память пока у живых. У тебя. У отца. У Ариши.

– А если очень надо?

– Мне однажды было очень надо. Я два раза пыталась увидеть одного старика, по просьбе его правнуков, они хотели узнать, где он спрятал семейную реликвию. В первый раз – туман и голоса, как через стену. Через пять лет попробовала снова и увидела ясно, как в окне. А между этими разами умерла их старшая сестра. Последняя, кто его помнил.

Митя долго молчал. Сургуч перестал вылизывать Верину руку, снял лапы с её колен и привалился боком к Митиной ноге.

– Это как файл, – сказал наконец Митя. – Пока он у кого-то открыт, в другую папку не перенесёшь.

– Похоже, – сказала Вера.

– Значит, пока я бабушку помню, вы её не увидите.

– Да.

Митя сунул ключи в карман и встал, отряхивая колени.

– Тогда я буду помнить, – сказал он.

* * *

Полина Фёдоровна жила в последнем доме перед лесом. Дом был синий, с белыми наличниками и ровной поленницей под навесом.

Снимок Вера нашла летом, в коробке старых открыток, которую Тасе принесли после разбора чьей-то квартиры. Две девушки у сторожевой башни на Лисьей горе. Ветер задирает юбки, одна держит другую за локоть, чтобы не сдуло. На обороте карандашом: «Поле от Шуры. Май 1956». Шуры давно не было в живых, иначе снимок не попал бы в коробку. Полю Вера искала два месяца – по школьным выпускным спискам, по старым адресам, через краеведов – и нашла. Записала в «Ничьи» и ждала случая. Жила Поля всё там же, в старой слободе у рудника. Коренные тагильские семьи держатся за свои улицы поколениями.

Сегодня случай наконец представился.

Полина Фёдоровна, маленькая, в двух кофтах, одна поверх другой, долго держала снимок на вытянутой руке. Потом надела очки и поднесла его к самому лицу.

– Шурка, – сказала она. – Ох, Шурка. Ветрище был, юбки задирало, мы хохочем, а Женька кричит – стойте, не дёргайтесь, плёнку изведу. Мы в тот год школу кончили.

И вдруг спросила строго:

– Где взяли?

Вера рассказала про коробку и про Тасю. Про два месяца поисков не стала.

Полина Фёдоровна сняла очки, протёрла их краем кофты, снова надела и посмотрела на Веру. Потом встала и поставила чайник.

Через десять минут на столе были чай, вишнёвое варенье в стеклянной розетке и пирог с капустой. Митя съел два куска и потянулся за третьим. Сургуч сидел под столом и смотрел на пирог не мигая.

– А на рудник вы зачем ходили? – спросила Полина Фёдоровна, наливая Мите вторую чашку. – Я в окно видела. Собака ваша по отвалам скакала.

Митя посмотрел на Веру. Вера взяла кусок пирога.

– Смотрели старую дорогу, – сказала она. – Я генеалог. Ищу, где жили и работали чьи-то предки.

– Дорога – ладно. А дальше, за берёзами, не ходите. Там штольня старая, заваленная. Дед мой говорил, что это место, где пропадают мастера. Хозяйка их к себе берёт. Лучших.

– У нас в семье так говорят, – сказал Митя. – Что мужчины уходят в гору. Это шутка такая.

– Шутка. – Полина Фёдоровна отодвинула от него розетку с вареньем. – В девяносто восьмом тоже один городской пропал. Камнерез. В газете писали, с портретом, что ушёл из дома и не вернулся. У нас тогда все и сказали – Хозяйка горы забрала. Раз с камнем работал.

Митя поставил чашку на блюдце и больше её не поднимал.

– Какой камнерез? – переспросила Вера.

– А я помню? Немолодой. Лицо доброе. – Полина Фёдоровна пожала плечами. – Газету я на растопку пустила, ещё в ту зиму.

* * *

Обратно Митя вёл молча и держал руль так крепко, что белели костяшки. Сургуч спал на заднем сиденье. Вера смотрела в окно на белый лес и грела ладони между колен. Ладони не грелись.

Девять дней назад тетрадь ответила ей: «Тамъ же, гдѣ Степанъ». Тогда Вера не знала, кто такой Степан.

Теперь знала. И знала, где весной тысяча восемьсот тридцать седьмого года заново заколотили старую штольню.

Она достала блокнот «Даты» и, не с первого раза попадая карандашом в строку, записала: «Май 1837 – Степан. Август 1998 – Николай. Одно место?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.